№ 11 1974

Владимир Сергеев





Седина

Седая память по вискам плывет
Совсем не оттого, что мы стареем.
Седеем от войны, и от забот,
И от любви, наверное, седеем...
Но жалоб нету на избыток лет,
И, замедляя жизни бег достойно,
Мы все же любим этот белый цвет,
Как первый снег, и чистый и спокойный.

Песня

Там над Одером да над Вислою,
Где б война ни водила солдат,
Не опознаны, не отысканы
Наши русские парни лежат.
И ни колышка, ни отметины,
Только славы тугое жнивье,
И посмертное им бессмертие,
Бесфамильное, да свое...
Над могилами, что обойдены,—
Знать, такая уж вышла судьба,
Далеко-далёко от Родины
Колосятся чужие хлеба.
А над Волгою и над Леною
Пеленают бабуси внучат.
И, храня красу довоенную,
Пожелтевшие фото молчат.
А за Веною и за Познанью,
Где б война ни губила солдат,
Не отысканы, не опознаны
Наши русские парни лежат...

День в Торуне[1]

Сквозь туман угадываю грани
Призрачного мóста над рекой,
Готики привычной очертанья,
Города знакомый непокой...
Принимай соседа по-соседски,
Не кажись ты хмурым и седым.
Здравствуй, Торунь университетский,
Отданный от века молодым!
Мы сидим, чинов не почитая.
Ранний вечер тучами повис.
Мне стихи Мицкевича читает
Девочка из будущих актрис.
Спят в дожде готические зданья,
Выстроены славой и бедой.
До свиданья, Торунь. До свиданья,
Тяжкий мост над висленской водой.
До свиданья, серый, долговязый...
Для меня теперь уже иной —
До свиданья, мой голубоглазый
С непокрытой русой головой.

[1] Торунь — город в Польше, где родился Н. Коперник.

Александр Шевелев



✪

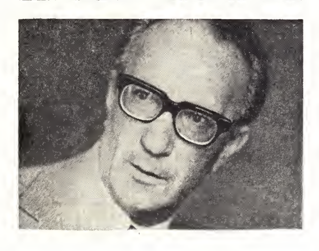
Затихла талая вода,
покачивая маленькие льдины,
с вершин холмов
пришедшая сюда,
заполнила овраги и низины;
и наклоненные леса
едва пронизаны рассветом,
и горизонта полоса
отделена от них при этом.
И свист далекого скворца
вначале слышался невнятно:
то удалялся без конца,
то возвращался к нам обратно...

✪

Что-то нынче равнина молчит.
У рябин пообломаны грозди.
Где-то дятел далеко стучит,
чтобы осень развесить на гвозди.

Еле слышны детей голоса,
убегающих в школу по склону.
Полдень зорко стоит на часах,
не качнув золотую корону.

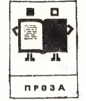
Сядем в лодку с тобой, уплывем;
не нужны никакие признанья.
Хорошо оказаться вдвоем
просто в центре всего мирозданья.



Сергей
ОСТРОВОЙ

ЗЕЛЁНАЯ ОБЕЗЬЯНА

РАССКАЗ



Рисунки
Н. ЦЕЙТЛИНА.

Более всего этот приморский городок напоминал проходную разноцветную комнату. В нее входили с любой стороны. И со стороны леса, и со стороны моря, и со стороны гор. Входили и выходили. Долго не задерживаясь. Пестрые, взбаламученные толпы людей с шумом накатывали на улицы и растекались по ним ярко и разноязыко.

В летнюю эту пору городок словно раздвигался, растягивался, становился крикливее и будоражливей. Особенно привольно чувствовали себя курортники на широкой набережной, где равнодушные пальмы стояли вперемежку с диковинными фонарями. И только коренные жители, которых в этом городке было не так уж много, никуда не торопились, ничего не выясняли, ничем не привлекали к себе внимания. У них был свой собственный мир, куда посторонние и случайные люди по возможности не допускались. Это инстинктивно срабатывала защитная реакция, созданная десятилетиями, передававшаяся из рода в род и не позволявшая бесконечным и вечно новым впечатлениям расшатывать и разрушать хрупкие человеческие души. Да и у моря горожане бывали редко, разве что только по праздникам. Так уж сложилось.

Человек, о котором я хочу рассказать, появлялся на набережной каждый день. И всегда в одно и то же время. Ровно в шесть. Жара к тому времени уже спадала, солнце постепенно уходило за горизонт, и наступал тот благословенный в природе час, когда дышится особенно легко. Человек этот, судя по его виду и неторопливости, принадлежал к местным жителям, и тем более странно было видеть его каждый день здесь, на набережной. Он появлялся в одном и том же месте и всегда катил впереди себя детскую коляску. Он катил ее вдоль моря, подолгу останавливался, глядел куда-то далеко-далеко, словно видел там только ему одному известные знаки. Был он густо бородат, худ и не по годам строен. А широкий матросский клеш и выцветшая тельняшка делали его слегка похожим на героев Грина. За человеком этим всегда двигалась толпа любопытных. В коляске, которую он катил, сидела в гордом одиночестве маленькая обезьянка. Сидела она прямо и так же, как и ее хозяин, смотрела поверх людских голов куда-то за горизонт, словно тоже видела в этих синеющих далях что-то приметное, известное только ей одной. Любопытные старались придвинуться к обезьянке совсем близко. Она принимала угощение с какой-то царственной небрежностью. Спокойно и снисходительно. Аккуратно лущила семечки. Ела виноград, невозмутимо выплевывая через плечо скользкие коричневые косточки. Все это вызывало у людей восторг и удивление. Да и сама обезьянка, независимо ни от чего, одним своим видом могла привести в изумление кого угодно. Была она ярко-зеленой, неправдоподобно зеленой, цвета сочной весенней травы. Даже казалось, что кто-то ее нарочно выкрасил. Я лично таких обезьян никогда не видел. Представьте еще на этом зеленом необыкновенном туловище черную мордочку с белыми надбровьями. И белыми щечками. И ко всему — полнейшая философская невозмутимость. Как у маленького тибетского идола. Или как у черного африканского божка.

Люди, которые шли за человеком с обезьянкой, вели себя по-разному. Одним это зрелище доставляло удовольствие. Другие почему-то раздражались.

— Ну, конечно, кто детей в колясках возит, а кто обезьян!

— Ловко пристроился! Кабы не эта обезьянка — век бы его никто не знал. Через обезьянку и в люди вышел!

Возгласы эти не могли не долетать до того, кому они предназначались. И то ли он давно уже к этому привык, то ли берег свое человеческое достоинство, но ни в какие разговоры не ввязывался, а так же спокойно продолжал катить вдоль моря свою коляску. Да ему и нельзя было волноваться. Это я уже понял потом. Обезьянка бы сразу почувствовала это. Так она любила его.

Однажды, когда человек с обезьянкой возвращался после очередной прогулки к себе домой, я долго шел за ним. Любопытные постепенно отставали, дорога поднималась в гору, но я твердо решил идти до конца. Покуда не узнаю, где он живет. Шли мы долго. Я уже начал уставать. Маленькие домики — а это уже была окраина — убегали от дороги куда-то вглубь, прятались за деревьями, за неожиданными поворотами. Человек, катившин коляску, внезапно остановился.

Я сделал по инерции несколько шагов и тоже остановился. Какое-то время мы молча стояли друг против друга.

— Вам что-нибудь надо? Подойдите сюда! Не люблю, когда мне долго смотрят в затылок.

Сказано это было с явным вызовом. И как только он это сказал, обезьянка заерзала, забеспокоилась, что-то удивленно и жалобно залепетала и тут же вскочила ему на плечо.

— Не сердись на меня, Виктория! Я опять не сдержал своего слова.

Он взял обезьянку на руки. Погладил ее. Потерся щекой о щеку. Посадил ее в коляску. И только после этого снова заговорил со мной:

— Понимаете, мне совсем нельзя нервничать. А тут от любопытных житья нет. Вот я и срываюсь. А она очень сильно за меня переживает. У нее на это чуткость тоньше человеческого волоса.

Улица сделала вдруг резкий поворот влево. За оранжевым палисадником показался небольшой домик с крылатым коньком на крыше. По взгляду, которым мой собеседник окинул дорогу, я понял, что мы пришли. И тут я решил сказать ему все напрямик. Да, я действительно хожу за ним уже почти целый месяц. И завтра мне уезжать. И я хотел бы сегодня, сейчас узнать у него все, что касается этого странного случая.

— Какого странного случая?

— А вы разве считаете нормальным появление в городе зеленой обезьяны да еще сидящей в детской коляске? Это не каждый сочинить может.

— Почему вы так об этом говорите?

— А потому, что я очень люблю животных. И потому еще, что мне совсем не безразличны люди, у которых они живут. Более того, мне очень интересны эти люди. Воспитывая животных, человек никогда не лжет. Если он злой, он не сможет прикинуться добрым. Если он хитрый, он не сможет прикинуться простодушным.

— Это как сказать! Прикинуться всегда можно. Всякие случаи бывают.

— Случай не истина. И мыльный пузырь может прикинуться радугой. Или солнцем. А вот что касается человеческого характера, то в своем отношении к животным он проявляется удивительно ясно. И мне даже сейчас не столько интересна ваша обезьянка — хотя она сама по себе необыкновенна,— сколько вы лично. Вы, как человек.

— Чем же это я вам так приглянулся?

— Вы замечали, как некоторые женщины прихорашивают своих собачек, чтобы на прогулках возле них покрасоваться самим? А тщеславие дрессиров-



щиков? Уж не это ли самое приводит вас каждый день на набережную?

Вопрос мой, видно, задел его за живое. Лицо его стало медленно краснеть, словно от какой-то внутренней натуги. Он внимательно на меня посмотрел, сделал шаг вперед, будто собирался напасть на меня, и начал вдруг громко и ненатурально смеяться. А, может, мне показалось это неестественным потому, что я меньше всего ожидал именно такого поворота событий. А он хохотал все громче и громче. Обезьянка захлопала в ладоши. Чем громче он хохотал, тем громче хлопала в ладоши обезьяна.

— Ох, уморил! Ну и молодец... Какой же вы молодец! Вы на самом деле думаете обо мне так?

Я не успел еще ничего сказать, как он, не дожидаясь моего ответа, снова быстро заговорил:

— Пойдемте, пойдемте, сейчас вы все узнаете. Многие ходили за мной. Очень многие. А вот чтобы так далеко, до ворот... Этого не было. Терпения не хватало. Или любви.

— Любви? Какой любви? К чему?

— К событию. Ведь когда два чужих человека знакомятся — это же событие. Тут надо, чтобы пушки били. Костры горели. Две разных линии пересекаются. Событие.

Домик, в который мы вошли, стоял в глубине двора. Высокий развесистый каштан накрывал крышу чуть ли не целиком. В комнате пахло сушеными травами, чисто вымытым деревом. Мы сели за стол, и я услышал удивительный рассказ.

Мой собеседник родился в Сибири. Глухая алтайская деревушка лежала в зеленом распадке. Высокие горы и мудрые старые леса окружали ее со всех сторон. В деревне было очень много собак. Гулкая пустота неба и тяжелые горы делали их лай настолько громкоголосым, что этого иногда не выдерживали даже лавины. Особенно громко любили петь собаки под заливистую дудочку маленького деревенского пастуха. Это походило на вымысел, на волшебство. Со всей деревни мчались собаки, чуть только заслышат звуки его немудрящей песенки. Он вел их за околицу, они рассаживались там полукругом на маленькой полянке и начинали истово в голос выть. Было в этом что-то колдовское, древнее. И может быть, именно потому мальчишке прощали невообразимые эти забавы.

А он был влюблен в море. Этого не знал никто. Узкая горная речушка, пробегавшая неподалеку от деревни, была перегорожена камнями. Гладкими и оглохшими. Другой воды мальчишка никогда не видел. А за горами было море. Это про него пели песни и рисовали его на голубых картинках. И не было ему ни конца, ни края. Как небу над головой.

Первый раз Иван увидел море в Одессе. Из деревни он убежал от голода и безотцовщины. Было это в двадцатых годах. Нагулявшись по России, набеспризорничавшись, пристал к воровской компании. В порту во время первой же облавы его поймали.

Потом была колония. Потом мореходное училище и фронт. Раненого Ивана Ширяева привезли в госпиталь в Ялту. Тут его и застал конец войны.

Морская служба позволила штурману дальнего плавания побывать во многих странах мира. Особенно когда он попал на океанографическое судно, бороздившее море на разных широтах. Малые туземные поселения на безымянных островах, так же как и огромные пестрые города, раздвигали и расширяли мир до необъяснимых размеров.

Однажды в Австралии, в зоологическом саду, Ширяев увидел необычайное животное. Надо сказать, что он вообще до крайности был неравнодушен к четвероногому населению земли. Давние его забавы с поющими собаками всегда вызывали одно из лучших воспоминаний о детстве. За кружевным плетением вольера сидел бамбуковый медведь. И невозможно было понять: то ли люди пришли сюда смотреть на него, то ли он пришел сюда глядеть на людей. Взгляд его был открыт и беззащитен. Да и сам он, неуклюже-мягкий, очень какой-то таинственный и диковинный, вызывал двойственное чувство: восхищения и жалости. Два часа подряд простоял Иван у этого вольера. Перед закрытием сада к нему подошел смотритель.

— Я давно уже наблюдаю за господином. Вам очень понравились наши животные? Пойдемте, я покажу вам за это то, чего вы никогда в своей жизни не видели и, может быть, никогда не увидите. Это наша гордость. И наше разорение. Мы заплатили такие деньги, какие доступны только королям. И не жалеем об этом.

Обезьяна сидела возле небольшого белого домика и неторопливо ела бананы. Ярко-зеленая обезьяна с черной мордочкой и пронзительно белыми надбровьями. И еще у нее были очень белые щеки. Как могла природа нарисовать это чудо, где она взяла эти краски и эти пропорции, эти коричневатые глаза, обожженные тропическим зноем, и эту почти человеческую естественность поведения? Обезьяна доверчиво потянулась к людям, протянула каждому по банану, что-то приговаривая на своем обезьяньем языке.

— Вот это и есть наша разорительница. Наше сокровище. Говорят, что она обитает где-то на Полинезийских островах, а где именно — знают всего несколько человек. Туземцы зовут ее Мкуромомба, что в переводе с их языка обозначает «божественная». Да она и в самом деле божественная. Видите, как она нас слушает? Она понимает любую человеческую речь. Каждый раз, когда я говорю в ее присутствии, мне кажется, что она знает больше, чем я. И больше, чем мы все. На земле таких обезьян всего несколько экземпляров. К сожалению, люди нашего века разучились любить животных. Дела нашего сада идут не блестяще, а ведь мы обладатели редчайших тропических животных. Боюсь, как бы со временем нам не пришлось с ними расстаться совсем.

Смотритель еще долго что-то говорил Ширяеву, куда-то звал, хотел что-то еще показать, но Ширяев уже не мог отвести глаз от обезьяньего домика. Так это и запало ему в душу. С этим он и ушел.

Прошло несколько лет. За это время люди, знавшие Ивана Ширяева, немало были поражены той переменой, которая с ним произошла. Он стал сосредоточеннее, замкнутее. Стал избегать шумных компаний, дружеских пирушек. Когда случались длительные стоянки в иностранных портах и многие члены команды возвращались навеселе, Ширяева среди них не было. Люди приносили на корабль какие-то немыслимые сувениры, каюты полнились покупками, пестрой цветастою кладью,— Ширяев отказывал себе во всем. Сначала товарищи подтрунивали над ним, даже прозвали его «скупым рыцарем». Потом уже слово «рыцарь» не произносилось. Ширяева откровенно стали звать скупым. Но все осталось, как было. Он копил деньги. Копил одержимо. Изо дня в день. Первое время ему это удавалось с трудом. Несколько раз он срывался. Но потом постепенно чувство самоограничения стало в нем обычным и постоянным. Привыкают же в конце концов и к голоду и к холоду. Надо только видеть в этом необходимость.

Через десять лет Ширяев снова попал в Австралию. В Сиднее корабль стоял двое суток. Сойдя на берег, Ширяев тут же сел в такси и назвал адрес зоосада. Шофер покачал головой, удивленно сказал:



— Вы, наверное, давно не были в нашем городе? Хозяин этого зоосада умер, а молодые наследники уже успели все промотать и пустить дело на ветер. Это был громкий скандал в Сиднее. Сейчас сад опечатан за долги. Не сегодня-завтра состоится распродажа зверей. Я уж и то думаю, не купить ли мне амазонского крокодила? Или слона?

Всю дорогу Ширяев готовил себя к худшему. Наступал момент, когда его десятилетние старания могли закончиться ничем.

Возле зоосада толпились люди. Привлекал внимание большой плакат, сообщавший о том, что сегодня, в субботу, в одиннадцать часов утра, состоится распродажа диких зверей и животных. Желающие могут до начала аукциона пройти в сад и осмотреть интересующие их экземпляры. Шофер показал Ширяеву на небольшую группку у входа.

— Видите вон тех двух бледных молодых людей? Это и есть новые хозяева. Бывшие хозяева.

Ширяев наскоро расплатился и поспешил к воротам. Шофер крикнул ему вдогонку:

— Только не покупайте моего крокодила! И оставьте мне, пожалуйста, моего слона! Он мне очень нужен! Я без него жить не могу.

Белый обезьяний домик заметен был еще издали. Когда Ширяев подошел ближе, он увидел, что все осталось таким же, каким и было. Не было только самой обезьяны. Да на двери домика висел замок.

«Ну, вот и все! — подумал Ширяев.— Вот и кончились мои ожидания».

Он обошел домик со всех сторон. На боковой аллее, под деревом, стоял немолодой человек и пристально наблюдал за Ширяевым. Вглядевшись в него, Ширяев узнал того самого смотрителя, который десять лет назад привел его сюда, к обезьяньему домику. Подумать только! Десять лет... Почти девяносто тысяч часов. А человеку достаточно одного мгновения, чтобы стать счастливым или несчастным.

— Я вас хорошо помню! — сказал смотритель.— И я знал, что рано или поздно вы вернетесь. А наша королева Виктория живет теперь в другом месте. Со вчерашнего дня ее клетку перенесли в помещение дирекции. Хотят, чтобы ее могли видеть все. Ведь она самый сильный и самый богатый козырь. А козыри во всякой игре прибегерают под конец.

Аукцион набирал силу медленно. Вначале шла распродажа не очень дорогих животных. Постепенно азарт денежного боя накалялся, и, когда дело дошло до редких животных, страсти стали приобретать багровый оттенок. Некоторые покупатели уже успели нерасчетливо поистощить свои карманы, зато другие, наоборот, только теперь дали себе волю. Игра была в самом разгаре. И все-таки нельзя было сказать, чтобы цены подскакивали до астрономических высот. Чувствовалось, что все чего-то ждали.

Когда в зал вкатили клетку с зеленой обезьяной, шум заметно усилился. А потом сразу утих. В тишине особенно отчетливо прозвучали удары молоточка, которым аукционщик будоражил толпу. Для одних это звучало, как музыка наступления, музыка активного действия, для других, как погребальный хорал, как музыка разбитых надежд. Ширяев в игру не ввязывался. Общее возбуждение постепенно гасилось тем, что цена за обезьяну росла с быстротой ртутного шарика, погружаемого в кипяток. Желающих оставалось все меньше и меньше. Ширяев молчал. Из трех оставшихся претендентов наиболее бескомпромиссно вел себя один из молодых владельцев сада. То ли это был акт любви и отчаяния, то ли расчетливая политика искусственного взвинчивания цены. Ширяев молчал. Потом аукционщик назвал баснословную для этого случая сумму и два раза ударил молоточком.

— Кто больше?!

В зале никто не ответил. Ширяев молчал. Аукционщик снова спросил:

— Последний раз! Кто больше?!

Ширяев назвал свою сумму. Она с запасом перекрывала предыдущую и твердо заявляла о безоговорочных намерениях. И хоть Ширяев никогда в своей жизни в торгах подобного рода не участвовал, чутьем своим он понял, что тут надо бить наверняка. По-боксерски. Наносить удар весом всего тела.

Я сознательно не хочу называть окончательного результата аукциона. Сумма эта была велика и может показаться неправдоподобной. Скажу только, что все это было именно так. Два дня понадобилось Ширяеву на то, чтобы оформить расчеты. К вечеру второго дня Виктория уже переселилась на корабль.

Надо ли говорить, чем стала эта маленькая обезьянка для людей и как отогревала она в долгих скитаниях многие суровые, а иногда и зачерствевшие души. Ширяева она любила неистово. Тут было удивительно все. Она потянулась к нему сразу, будто всю жизнь шли они навстречу друг другу, тосковали в разлуке и наконец-то встретились.

Несколько лет уже Виктория плавала вместе с Ширяевым. Морские ветры пробудили в ней любовь к морю, а бесконечные горизонты, за которыми рождалось и умирало солнце, загадочно мерцали и зыбились, ничуть не приближаясь к ней и не удаляясь от нее. Часами могла она неподвижно сидеть на палубе и следить за великим таинством превращения, когда вода переходит в небо, а небо становится водой. Особенно любила она закаты. Красный шар медленно погружался в море, перерезался надвое, потом от него оставалась узенькая полоса. Потом это все начисто уходило в глубину. Именно этот самый момент встречала она каким-то воинственным кличем и громко хлопала в ладоши. Это с ней было всегда, и это надо было понимать как знак особой заинтересованности или особого расположения.

Пятидесяти пяти лет Ширяев списался на берег по инвалидности. Все больше и больше донимали злополучные фронтовые осколки, посеянные в его теле. Боль накатывала глухими приступами, тяжело коверкала психику, ожесточала. Кто знает, чем бы это все стало, если бы не безответность и беззащитность обезьянки. Каждое волнение Ширяева передавалось ей тут же. Он это понимал и щадил ее, как умел.

Маленький приморский городок, в котором поселился Ширяев, был типичным детищем юга. Шумный, разноцветный, проходной. В одни и те же часы Ширяев появлялся с Викторией у моря. Там, если вы помните, я и увидел его впервые.

Рассказав мне всю эту историю и провожая меня до ворот, Ширяев на прощание сказал:

— А теперь о том, почему я каждый день появляюсь с Викторией на набережной. Она очень любит людей. И очень любит море. Вся ее жизнь была связана с этим. Иногда мне физически трудно лишний раз выползти из дому. И все-таки я иду. Иду потому, что не имею права лишать ее личных радостей. Слишком много мы друг для друга значим.

Я уходил от Ширяева и думал о том, что обязательно найдутся люди, которые, прочитав этот рассказ, скажут: «Выдумка! Легенда! Не может быть!»

А между прочим, все было действительно так. Я ничего тут не прибавил. Ничего не выдумал. И дело тут, наверное, все-таки не только в зеленой обезьяне (которая сама по себе необыкновенна!), а в человеке, в его неудержимом пристрастии, в его душевной цельности. Это надо уважать. И об этом всегда надо рассказывать друг другу.



ПО СМОЛЕНСКОЙ ДОРОГЕ

В февральском номере «Юность» рассказала о том, что московской школе № 279 присвоено имя А. Т. Твардовского. Летом ученики школы отправились в поход по местам, связанным с детством и юностью поэта. Предлагаем дневник этого похода. Автор дневника — выпускница школы Таня Никологорская.

В конце зимы мы написали брату А. Т. Твардовского, Константину Трифоновичу. Ответ пришел быстро:

«Уважаемые товарищи комсомольцы школы имени Твардовского. Я получил ваше письмо пять дней тому назад. Ваше намерение, вернее, решение пройти по местам, связанным с юностью и детскими годами Александра Трифоновича, приветствую и одобряю; буду рад оказать вам возможную помощь... и передать все, что сохранила память о прошлых и далеких днях нашей семьи, а также о годах совместной учебы.

В предполагаемом походе я буду с вами.

В моих физических возможностях можете не сомневаться. Охотник я.

До свидания.

К. Твардовский».

В пионерской комнате — рюкзаки, фонарики, фляжки. Судорожно считаем. Нас 19. 19 мисок, 19 ложек, 19 кружек. Табличек из синего плексигласа с белыми буквами «Школа № 279 имени А. Т. Твардовского» тоже 19. Руководители похода — учителя Инна Иосифовна Корэ и Регина Семеновна Мамлина — успокаивают родителей:

— Не волнуйтесь, вернем в целости и сохранности.

И вот они, вчерашние девятиклассники, идут по вечернему проспекту Мира, подавшись вперед под приятной тяжестью рюкзаков. С ними учителя и мы — трое студентов. Родители провожают до вокзала и не могут удержаться от наставлений.

А через час рюкзаки втиснуты под нижние полки плацкартного вагона. Поезд идет к Смоленску.

В Смоленск мы приехали рано утром и на вокзале сразу увидели ребят из 6-й школы. Они были нашими гостями во время весенних каникул. Теперь они бежали нам навстречу. С ними была их учительница Долорес Федоровна Пушкаренко.

Дождь, пасмурно. В трамвае мокрые стекла. «Москвичи, обратите внимание на Успенский собор и памятник Кутузову»,— говорит водитель в микрофон. Как он догадался, что мы из Москвы?

Мы в 6-й школе. Спортивный зал заботливо подготовлен к нашему ночлегу. Спасибо, спасибо. Регина Семеновна велит достать из рюкзаков хлеб и нарезать его для завтрака.

— Что это вы? Какие еще бутерброды? Наверх, наверх, ребята. Там давно все готово.



Рисунок В. МАНЖУЛО.

Ребята устроили нам настоящий праздничный обед и заботились о нас целый день.

По Смоленску мы бродили с чудесным гидом, историком Ириной Борисовной. К сожалению, мы не спросили ее фамилии. Как ей хотелось, чтобы мы узнали и полюбили ее дорогой Смоленск. Негасимый огонь. Памятник героям 1812 года. Памятник Глинке. Крепостную стену. Впечатлений столько, как будто мы общались со Смоленском не один день, а долго-долго.

Вечером приехал Константин Трифонович. Он очень похож (по портрету) на Александра Трифоновича. Значительный человек — большой, несуетливый, достойный. Пришли к нам друг Твардовского, Иван Прокопьевич Иванов, и секретарь смоленского отделения Союза писателей Ю. Пашков. После их выступлений начался импровизированный вечер поэзии Твардовского. Читали стихи — кто какие помнил. Пели песни. Про смоленскую дорогу. Про нее особенно хотелось петь.

«В раннем возрасте у человека есть только один город — город, в котором он родился, или город, ближайший к его местожительству. С детства, помню, у нас не говорили «Смоленск» — говорили «город». Город Смоленск был у нас за все города. Для деревенского мальчика он открылся как особый чудесный мир, с особыми, необычными для детской души приметами и законами жизни». (А. Т. Твардовский. «Год спустя».)

Мы с Иваном Прокопьевичем Ивановым в Ленинской областной смоленской библиотеке. Иван Прокопьевич — первый ее директор, сейчас он на пенсии. Еще одно открытие: поэт любил музыку. Иван Прокопьевич часто играл ему.

Однажды Иван Прокопьевич показал Твардовскому рояль, спрятанный в лесу. Было это в первые годы после революции, после разгрома помещичьих усадеб. Не зная, что делать с барским роялем, крестьяне оттащили его в лес. Полированную крышку сняли — зачем-то она им понадобилась. По клавишам прыгали птицы, выколачивая странные мелодии, да изредка прибегали деревенские дети — побарабанить на непонятной музыке.

В этот день в Литературном музее Смоленска при педагогическом институте мы увидели небольшой зеленый стол из смоленской квартиры поэта. Стол, за которым был написан «Теркин». Урывками, между отъездами на фронт.

В Смоленске готовится памятник Теркину. Часто ли ставят памятники литературным героям?

Вечером мы навестили сестер Твардовского — Марию Трифоновну и Анну Трифоновну. Пересняли несколько фотографий из семейного альбома. Спросили о любимых песнях Александра Трифоновича. Анна Трифоновна вспомнила:

— Любил белорусскую «Ой, у поли рожь зацвела».

Вспомнилась «Лявониха» из цикла «Родина и чужбина».

Белоруссия была хорошо знакома Твардовскому, ведь со Смоленщиной она рядом.

Вместе с Константином Трифоновичем продолжаем наше путешествие. Выходим на станции Починок. Недалеко отсюда, на хуторе Загорье, родился Твардовский. Он писал:

Счастлив я.
Отрадно мне
С мыслью жить любимой,
Что в родной моей стране
Есть мой край родимый.

И еще доволен я.—
Пусть смешна причина,—
Что на свете есть моя
Станция Починок.

Сельцо — ближайшая от Загорья деревня. Едем туда. Проливной дождь. Нам открывают клуб. Льет с потолка. Женщина подставляет ведра, на стенах плесень. Клуб этот был построен на средства Александра Трифоновича. Становится больно, что он в таком запустении. В красном уголке несколько книжек, портреты. Многие сборники стихов с автографами Твардовского растащены из библиотеки. Горько. Надо что-то сделать.

Мы отправляемся в Загорье искать место, где когда-то был дом Твардовских. Но даже Константин Трифонович не смог его найти: все смела война. Мы как бы заново читали страницы «Родины и чужбины»:

«Родное Загорье... Местность так одичала и так непривычно выглядит, что я не узнал даже пепелища отцовского дома. Ни деревца, ни сада, ни кирпичика или столбика от построек — все заиесено дурной высокой, как конопля, травой, что обычно растет на заброшенных пепелищах».

Мы — первая экспедиция, которая должна пройти по родным краям Твардовского. Идем под дождем в плащах с капюшонами. В деревне их называют ангелушками. Нам это название нравится, и мы тоже говорим: «Ангелушку забыл. Ангелушку потерял. Ангелушку порвал. Ангелушку сушил».

Места очень красивые. Льняные поля, столетние липы, дубы.

В селе Ляхово Твардовский учился в начальной школе. Село похоже на тенистый парк, сохранилась ровная аллея. Во время войны село вместе с людьми сожгли каратели — об этом мы знаем из очерков Твардовского.

В Белом Холме была школа-девятилетка. Здесь Твардовский окончил 6-й класс. Здание не сохранилось. Говорят, оно принадлежало декабристу Каховскому. Но уцелели великолепные трехсотлетние сосны на пути в Белый Холм и дуб, под которым, по преданию, останавливался Пушкин.

Дождь усиливался, а нам еще возвращаться в Сельцо. Полдник в сельской столовой. Мы собираемся вокруг Константина Трифоновича, и он читает нам «Поездку в Загорье». Как только послышались первые строки, колхозницы, спорившие о чем-то за соседним столом, затихли и обернулись к нам.

Скоро ль, нет ли, не знаю.
Вновь увижу свой край.
Здравствуй, здравствуй, родная
Сторона.
И — прощай!..

— Вот,— сказал Константин Трифонович, отодвигая книгу,— какую строчку можно из этого довольно большого стихотворения выкинуть?

Строгий и неторопливый стих Твардовского. Тут все на месте, все знает свое назначение. Казалось, что мы еще теснее сплотились вокруг поэзии Твардовского оттого, что рядом наш провожатый — его родной брат. Константин Трифонович был кузнецом, но он метко и глубоко судит о литературе. И это, видимо, не только след общения с братом, но и какая-то личная, фамильная черта. На вечере в 6-й школе он сказал:

— «Василий Теркин», конечно, правдивая, хорошая поэма, но ведь и запомнили Твардовского чуть ли не по одной этой книге. А то, что он написал после войны, не уступает «Теркину», пожалуй.

На обратном пути мы все время молчим. Причина простая — ливень. Измокли до нитки, даже ангелушки не помогли.

Добрые люди высушили наши вещи у своих печек. Сегодняшний солнечный день посвятили отдыху. Распрощались с Константином Трифоновичем, дальше мы пойдем без него.

Как много он дал нам! Однажды мы обедали вместе, и дежурные стали кричать:

— Кому добавки? Кому добавки! Константин Трифонович, вам положить добавки?

Он посмотрел на них, глаза у него светлые, твардовские. В них юмор, а может быть, грусть.

— Привык я в жизни обходиться без добавки.

В Сельце неподалеку от клуба стоит пирамидка со звездочкой — памятник погибшим здесь во время войны. Директор совхоза разрешил нам вымостить дорогу к монументу, и мы сразу начали таскать асфальтовые кирпичи на носилках. День-другой, и дорожка будет готова. Нам радостно сделать хоть что-нибудь своими руками в этих местах. Может быть, кто-нибудь догадается расчистить площадку перед памятником и укрепить на нем табличку со словами поэта:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь,—
Речь не о том, но все же, все же, все же...

Снова погожий день. Сегодня мы побываем в Кубарках — в этой деревне Твардовский вступал в комсомол.

Кубарки — это два двора на отшибе. Ближайшее село — Аблёзки. Туда мы и держим путь. В Аблёзках нас пригласили в дом — выпить парного молока. Известие о том, что мы из школы имени Твардовского, вызывает реакцию:

— Ну как же, помним, бывал он у нас.

Нам удалось разыскать Алексея Дмитриевича Журавлева. Он вместе с Александром Трифоновичем вступал в комсомольскую ячейку.

У Журавлева хранится книга с автографом — подарок Александра Трифоновича. Но показать ее нам он не смог: внучка увезла почитать. Значит, книга не музейная, а живая.

Как жил Твардовский — селькор, комсомолец — в 20-е годы?

— Работа была интересная,— говорил Журавлев,— в основном читал антирелигиозные лекции, агитировал. Он был тогда такой боевой, ему было шестнадцать лет. Хороший у него талант был, молодец, много таланта.

Алексей Дмитриевич Журавлев воевал, у него четыре медали. Под Ржевом он был ранен, десять месяцев лежал в госпитале. В их семье было пять братьев, а с войны пришел он один. В 60-е годы он снова встретился с Твардовским. Первыми их словами были:

— Как же ты постарел, Алексей.

— Да и ты уж совсем белый.

Это было в последний приезд Твардовского на смоленскую землю.

Ходим по Сельцу. В одном из домов встречаем Евфросинью Лазаревну — дочь того самого Лазаря. Помните «Поездку в Загорье»?

Я окликнул не сразу
Старика одного.
Вижу, будто бы Лазарь.
— Лазарь!
— Я за него...

Твардовский называет Лазаря песенником. Может, его дочь помнит песни отца? Народные песни, которые любил Александр Трифонович? Евфросинье Лазаревне наша просьба понравилась:

— Что ж я, одна буду? У нас многие поют. Я своих позову. Споем.

Женщины пришли в красный уголок клуба вечером. Они были нарядные, в беленьких платочках. Опечалились:

— Вот за этим столом мы его и поминали... Как петь-то будем? На три голоса или на пять?..

Магнитофон был включен, и десятка полтора песен было записано нами. Почти все мы первый раз слушали, как поют в народе. Не по радио, не из открытого окна, а вот так, рядом. Они пели, как будто возвращались в свою молодость, и песни звучали оттуда. Наверное, не может быть, чтобы девятнадцать человек в одну минуту вдруг полюбили народную песню, но мне показалось, что это случилось.

Возле речки, возле гая
Казак коника седлает...
Возле тихого Дуная
Я тебя поджидаю...

Эта песня того самого Лазаря. А вот они переглянулись и затянули:

Лет семнадцати девчонка
Полюбила старика.
Долго, долго с ним гуляла.
Не знала мать, не знал отец.
Как родители узнали,
Меня согнали со двора...

Удивительное в этим местах чувство слова.

— Теперь вы спойте!

— «По Смоленской дороге»,— шепнула Таня Цаплина.

Они слушали так, что мы снова поняли, какая это замечательная песня. Женщины не знали, что это песня Окуджавы, они посчитали ее ничьей, своей песней.

— Что ж мы вас раньше не встретили? Мы бы выучили ее.

Мы уходим из Сельца. Конечно, пешком, конечно, с рюкзаками, конечно, под дождем и, значит, в ангелушках; впереди Язвино, Болтутино, Новоспасское.

Мы уходим и надеемся, что крыша в Сельце перестанет течь, что отыщутся пропавшие автографы поэта. Всегда хочется надеяться, что после твоего прихода жизнь станет чуточку лучше.

Под вечер дождь кончился. Закат. Желтые ржаные поля. Веселые перелески. Сколько простора в тебе, Смоленщина! Жаворонки поют в теплой тишине. А вокруг — деревни и села, связанные с именем Твардовского.

Наш поход еще не кончен — нам еще идти и идти. Молодой Твардовский писал:

И за ту одну, старинную,
За музыку-рожок,
В край родной дорогу длинную
Сто раз бы я прошел.

Т. НИКОЛОГОРСКАЯ



К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

«ИСКУССТВО НЕ ПОДВЕЛО МЕНЯ...»

Николай Николаевич Жуков говорил, что будет длить земную жизнь своими работами. Он оставил после себя огромное наследие, тысячи рисунков, графических листов и акварелей на очень серьезные, волнующие темы. В их числе особое место принадлежит Лениниане. И тысячи, тысячи интересных эскизных работ — зарисовок, этюдов. Они могли бы составить многотомную своеобразную летопись таланта, помноженного на труд.

Наследие большого мастера не только в том, что он создал карандашом и кистью. Оно также состоит из его мыслей, высказываний. Одни из них остались устными и сохранились в памяти собеседников, другие, по счастью, запечатлены в статьях или книгах, а чаще всего в письмах.

Жуков в этой области тоже оставил немалое наследство. Если перелистать написанные им книги, статьи, посмотреть его ответы на письма, то можно найти много интересного, значительного. И сегодня удобный случай дать ему еще раз возможность высказать свои мысли в диалоге с молодыми людьми о творчестве, о жизни, об искусстве.

Обычно каждое утро перед тем, как подняться в свою мастерскую, Николай Николаевич извлекал из почтового ящика корреспонденцию. Утро его рабочего дня начиналось с чтения писем. А получал он их много. И на каждое отвечал.

В восемнадцать лет волнуют многие вопросы, тем более если ответ, хочешь стать художником. «Дайте, пожалуйста, ответ, что мне делать,— спрашивал Володя Загородников из города Ступино, Московской области.— В последнее время я увлекся копированием, получается, но вот с натуры рисунки не всегда удаются». И Жуков отвечал:

«Юношеское смятение я сам испытывал, когда приобщался к искусству. Все дается трудом, борьбой с неудовлетворенностью и неудачами. Ты увлекаешься копированием. Его надо сочетать с натурой. Я бы сравнил копирование с переливанием крови, ты как бы берешь у автора тот материал, который со временем станет твоим, твоей кровью. Музыкант разучивает гаммы, артист — технику речи. В рисунке копирование — элемент упражнений. Когда ты будешь это делать осмысленно, «через себя»,— все только на пользу».

В каждом ответе незнакомым мальчикам и девочкам Жуков напоминал о необходимости культуры, широкого кругозора.

Жуков сам с юных лет работал без устали, спешил к работе, просыпался раньше всех в семье. Он говорил, что чувствует себя хорошо, когда мысли будоражат голову, а «руки чешутся» от желания творить. Он «бежал к работе, как мать к грудному ребенку, которого нельзя оставить ненакормленным».

Николай Николаевич, забывая о недугах, о том, что ему за шестьдесят, был полон энергии, не знал, что значит отдых. Не понимал, и все. Мы вместе проводили отпуск на берегу озера Гальве в Тракае. Жуков рисовал соседских детей, пейзажи, плоды и цветы прекрасного литовского края. Сорок работ сделал он за 20 дней. Иначе он не мыслил отдыха.

Из отпуска, санатория, госпиталя он возвращался в Москву, чтобы снова погрузиться в гущу жизни. Частые телефонные звонки из редакций, хождение по вернисажам, дела студии военных художников имени Грекова, художественным руководителем которой он был, и рисунок ежедневный, и записи в дневнике, и ответы на письма. Представьте, успевал!

По глубокому убеждению Николая Николаевича, искусством надо ежедневно питать народ. Надо, чтобы выставки были везде и всегда, хорошие и разные. Прекрасное и красивое должно жить рядом с человеком, окружать его, влиять на него, формировать его вкус. Узнав о том, что при севастопольской школе-интернате создан клуб юных любителей искусства, Жуков пишет ребятам: «Благородное и хорошее дело вы затеяли. Думаю, что пользы получите много. Только пусть Клуб ваш не будет занятием для его членов кампанейским. Однажды приобщившись к искусству, вы должны пронести любовь к этому великому проявлению человеческой культуры через всю жизнь».

Автолитографии, рисунки по первой просьбе своих юных друзей со всех концов страны Николай Николаевич посылал почтой. Во многих случаях это послужило началом возникновения ленинских музеев и ленинских комнат в школах и училищах.

«Организацию ленинского школьного музея я считаю самой полезной инициативой комсомольского и пионерского актива,— писал Жуков в Елец ребятам школы № 1, где в начале 20-х годов учился сам.—Равнение на примеры жизни В. И. Ленина будет постоянным воспитателем и помощником в выполнении учебной программы школы, воспитателем нравственной и душевной чистоты каждого юноши и девушки».

Жуков создал много рисунков, относящихся к периоду детства и юности Володи Ульянова. Художник хотел не просто проиллюстрировать биографию Ильича, а изобразительными средствами рассказать о жизни вождя и учителя.

Но прежде, чем воплотить на чистом листе бумаги свои замыслы, иметь право обратиться к большим темам, Жуков готовил себя к этому. Он прошел суровую школу жизни. «Оглядываясь назад, я всегда вспоминаю это тяжелое для меня, но необходимое время,— записал он в своем дневнике.— Очень помогла мне действительная военная служба закалить характер, выработать солдатскую выдержку и выносливость. Ох, как пригодились они в тяжелый, полный беды и горя 1941-й. Тогда полной мерой увидел я людские страдания... Считаю, что именно в тот многострадальный 1941 год любимое мной искусство выдержало испытание на годность в строю. Этот год был присягой моего творчества преданности армии на всю мою жизнь».

...Мне памятен вечер, когда я застал художника в мастерской сидевшим возле окна.

— Искусство не подвело меня, оно фиксировало все ступени жизни,— сказал Николай Николаевич.— Я сижу и обозреваю все, что создал, что живет рядом со мной и составляет мой дом, мою радость и смысл жизни. Я, безусловно, не помолодел, но я создал то, что продолжит мою жизнь после меня, как свидетель добрых дел и добрых желаний...

Сергей КРИСТИ

В раздумье.

Из произведений народного художника СССР Н. Н. ЖУКОВА 1908—1973



Н. К. Крупская в юности.



Впереди Петербург.



Колокольчики.



Пять косичек в непогоду.

же грузчиками на пристань, хватались за всякого рода «бумажную» работу, где и вовсе подчас высшего диплома не требуется, в результате отказываясь от выполнения своего прямого общественного долга: поехать туда, где они необходимы, где их с нетерпением ждут.

Владимир Ильич часто повторял, что латинское слово «коммунизм», обозначает «общее», и замечал, что коммунизм с неба не свалится, его надо выстрадать, построить собственными руками.

И не случайно Владимир Ильич предлагал всю сумму знаний, выработанную человечеством, переработать в коммунистическое мировоззрение. Более того, он говорил и о том, что одной простой грамотностью электрическую Россию не построишь. Этот призыв Ленина овладевать всеми знаниями, накопленными человечеством, звучит сейчас особенно остро в связи с научно-технической революцией. Правильно: нельзя останавливаться на том, что уже достигнуто. Надо учиться и учиться всю жизнь. Учиться трудиться. Трудиться по-ленински, по-коммунистически. С 12 лет, как говорил Ильич, воспитывать молодежь в сознательном и дисциплинированном труде, так, чтобы труд стал жизненной необходимостью каждого советского гражданина. И в связи с этим я вспоминаю, как неожиданно для нас было выступление Михаила Ивановича Калинина, когда он приветствовал комсомольцев от имени ЦК партии на десятилетнем юбилее комсомола: «Десять лет растет комсомольская организация,— сказал он.— А я все спрашиваю: что, у нас за десять лет в значительной степени выросло уважение к простому физическому труду?.. Я считаю, что в этом отношении мало поработал комсомол...» Вот здак он нам выдал на юбилейном собрании. А эта проблема еще и сегодня окончательно не снята с повестки дня. Вот почему и Ленин, смотря далеко вперед, называл нашей самой сложной и ответственной задачей переделку всех навыков и приемов труда, самой психологии отношения к труду. Потому же и я сознательно привел пример о том, как педагоги, получив за счет Советской власти высшее образование, не поехали на село. Ведь это к сожалению, означает, что молодежь, называющая себя коммунистической, нередко игнорирует свой гражданский долг. А с этим явлением мы не имеем права мириться.

Возвращаясь из Кирова, я проезжал один сельский район. И увидел: клуб у них на замке, завклубом нет, киномеханик изредка наезжает из центра с узкопленочной установкой. Электроэнергии в этом селе тоже еще нет, как, впрочем, и во всем этом районе. Что же касается учителей — их страшная нехватка. Да и качество учебы невысокое: учителя вынуждены совмещать работу в нескольких школах. Это опять-таки один локальный пример. Но если посмотреть в масштабах страны (а мы и не имеем права смотреть иначе), то ясно: вопрос о кадрах советской интеллигенции на селе стоит крайне остро. И первые, кто должен помочь селу в этом плане,— это молодые люди, комсомольцы, закончившие вуз и приехавшие в деревню не гастролерами, а всерьез, понимая всю важность и ответственность дела, порученного им страной, партией и комсомолом.

А сознательность комсомольцев, как ни жаль об этом говорить, все еще оставляет желать много большего. Вот еще один пример — достаточно красноречивый.

Комитет комсомола одного московского вуза (я даже стесняюсь его назвать, это прекрасный, орденоносный вуз) провел анкету среди своих двух тысяч комсомольцев. Там были такие вопросы: «Что ты дал комсомолу за истекший год?», «Что ты получил от комсомола за истекший год?» Вопросы вполне резонные и своевременные.

Прежде чем ознакомиться с ответами студентов, я попросил сведения об академической успеваемости в этом институте. Оказалось, 52 процента студентов — троечники. Есть и двоечники, отстающие, есть, конечно, и отличники. Но больше всего меня поразил процент троечников — 52! Тащатся еле-еле от зачета к зачету, от сессии к сессии, от шпаргалки к шпаргалке. Не стану сейчас заглядывать вперед, говоря, что за специалисты своего дела выйдут из этого вуза со своими вечными тройками. Подчеркну другое: на вопрос: «Что ты дал комсомолу за истекший год?» пятьдесят процентов комсомольцев этого уважаемого орденоносного вуза ответили: «Ничего». А на вопрос: «Что дал тебе комсомол?» — тоже ответили: «Ничего. Я только посещал собрания и аккуратно платил членские взносы».

А ведь это проблема проблем! И одна из них — инертность вузовской комсомольской организации — явление, на мой взгляд (да и не только мой), абсолютно недопустимое. И ведь не случайно, сказал я тогда с трибуны общевузовской отчетно-выборной конференции, эти серенькие троечники, к общественной жизни равнодушные, смыкаются с теми, кто академически не успевает. И если каждый из вас внимательно прочитал речь Леонида Ильича Брежнева на Всесоюзном слете студентов, то не мог не заметить, что на вопросы общественной активности молодежи обращается сейчас все больше и больше внимания. Это своевременно и глубоко закономерно.

Исследуя выступление Ленина на Третьем съезде комсомола, многие говорили и говорят, что специального анализа и изучения заслуживает ленинская постановка вопроса о широкой, гармонической общей культуре молодежи. Все это правильно. Я вот думаю, что сейчас, когда у нас в жизни комсомольских организаций на первом плане законно стоят вопросы производства, укрепления материально-технической базы коммунизма, участия молодежи в соцсоревновании, нельзя забывать и о том, что все это неразрывно связано с развитием общей культуры, тщательной и разносторонней постановкой нравственного воспитания молодежи. Об этом же, к сожалению, иногда забывают. Пусть в отдельных случаях, но забывают. А результаты не забывают моментально сказаться — например, та история с выпускниками Кировского педагогического института. И немало ей подобных.

И вот если вновь и вновь вдуматься в ленинский призыв: растите настоящими коммунистами, воспитывайтесь в духе высокой коммунистической нравственности,— нельзя не понять, что Владимир Ильич хотел видеть будущие поколения всесторонне развитыми людьми, достойной сменой, глубоко и цельно осознающей свой гражданский долг, ибо им предстоит строить коммунистическое общество. И об этой задаче не имеет права забывать ни один из молодых людей.

Вновь и вновь перечитывайте ленинскую речь на Третьем съезде комсомола! И не ограничивайтесь только ее чтением (как это, увы, случается), но делайте для себя необходимые практические выводы. Именно это я и хотел сказать в ответ на вашу просьбу поделиться своими воспоминаниями о том героическом и трудном 20-м годе.



ПУБЛИЦИСТИКА

ОХОТОВЕД



Мне очень хотелось повстречаться с Петей Липатовым. Не так-то уж много известно случаев, когда человек, оказавшись без оружия, выходил победителем в схватке с медведем. К тому же в характере Липатова были глубины, которые не сразу и объяснишь: после трагедии в лесу он ушел из газеты, где работал литсотрудником, и навсегда связал свою судьбу с лесом, стал охотоведом.

...Из Рязанов мы с секретарем парткома Камневым выехали в начале десятого. Дорога в сосновых рощах была сыра, с бесконечными объездами. То и дело въезжали в лес, виляли меж сосен, тряслись, перебираясь через коренья. Постепенно в природе стало появляться что-то завораживающее, колдовское. Пошли небольшие озерца, разноцветные, с водой то черной, то прозрачной, как слезы, то синего настоя. Черное болотце лежало у старых, заброшенных мостков.

Вскоре увиделись места такой красоты, что можно было только молчать. Вот белая стена высоты необыкновенной. Березы все одинаковые, устремлены к небесам, как обелиски. С дороги видно, как у них там тесно. Слабые когда-то погибли, а выжившие сонмом потянулись в равную силу друг перед другом. Появляется и мучительно преследует мысль, что лес этот выражает какое-то сильное чувство, знакомое людям. Новизна впечатлений отодвигает все, и мне хочется погрузиться в созерцание. Подался к Камневу, крикнул, чтобы он ехал еще тише.

На прогалах — сосны, похожие на пальмы, с маленькими ветвями на вершинах, подальше — иное племя — гиганты в два обхвата, излучающие в мир отраженный друг от друга свет и спокойствие. Они попадались и потом, и всюду отдельно от всего иного, как сообщество избранных, поселениями штук по сто. И было у них чисто — ни подлеска, ни куста крушины, только трава.

Снова поднебесные березы уже рощами. И почти физически опять я ощущаю тесноту их общежития: окажись среди них — и плечом не поведешь. Не вытерпев, прошу Камнева остановиться, вхожу в березовую стену, задираю голову и вижу в вышине вскинутые руки. Я представляю: миллионы рук!

А над ним невинно голубеет небо. Сколько все-таки в природе противоречий. Чувства мои опять пришли в возбуждение, и я, кажется, понял, почему муромцевская сибирская природа имеет над человеком особую власть: здесь привычные представления расшатываются. Березы, а вот поди ж ты...

Потом на лугу, на старице лесной речки я увидел ветлы-великаны. В природе всюду были как бы взрывы, и я это объяснил: влаги достаточно, а земля щедра лишь местами. Гигантские ветлы возле «дойки» в Артыне, сосны-великаны, мимо которых мы только что проехали, поднебесные березовые рощи, пальмовые сосны. Это все взрывы. Гиблые места возле Покровки—это тоже взрывы, хотя и другого рода. И молчаливое место возле выгоревшего брусничника, когда я впервые испытал колдовскую силу здешней природы—это тоже взрыв. И такие же взрывы здесь, очевидно, в характерах — и в этом объяснение Липатова, его самого, его личностного взрыва.

Возле самой дороги стоял высокий и густой малинник.

— Километра на два тянется! — крикнул Камнев.— А сейчас будет деревня.

Малинник совсем рядом с деревней! Вот и дома виднеются в отдалении. Алексеевка... Она разместилась по многогорбому холму, улицы как бы льются волнами, и на глазу только часть строений. На гребне за серой жердевой изгородью, в сочной траве могучей кучкой стоят белые исполины, их стволы в полтора обхвата прямы, как колонны, а ветви лишь вверху, словно опахала. А дальше обрыв, и чувствуется река. Она угадывается по ступеням в цвете зелени, светлый провал как бы, а за ним совсем недалеко темной стеной урман, угрюмый, сторожкий и молчаливый.

Посредине улицы в западине небольшое озерцо в голых берегах. Огибаем его и подкатываем к дому, ворота которого украшены старыми, растрескавшимися от времени лосиными рогами. В ограде на высокой завалинке вижу еще такие же рога, а в траве возле поленницы замечаю черную лохматую клешню. Это медвежья лапа. Незамедлительно устремляюсь к ней. Кости, шерсть и кости. Б-р-р! Одного когтя почему-то нет. Уж не того ли медведя лапа, что напал на Липатова. Камнев где-то за спиной. «Нет»,— говорит он и рассказывает историю, которая объясняет здешние характеры. В прошлом году один школьник из деревушки Вятки-первой Витя Носков пошел по бруснику и увидел спящего медведя. Ружье у мальчика было заряжено мелкой дробью, но он все же стал подкрадываться к зверю, подошел потихоньку и выстрелил в ухо. Отчаянный и рисковый тут, пожалуй, народ.

Отдав должное смелости и отчаянности мальчишки (а ну, хрустни под сапогом ветка и проснись медведь!), я полюбопытствовал: а почему она без когтя? Оказалось, приезжал какой-то журналист и отрубил коготь на память. Бросив к поленнице лапу, я заглянул за угол дома, где что-то шебаршило, и увидел собаку собак, огромную черную сибирскую лайку, волочившую по сухой земле цепь. Она застыла от моей наглости, но вмиг пришла в себя и, свирепо рыча и стеная от злости, принялась сотрясать забор.

Петр
РЕБРИН

ЛИПАТОВ

Я застыл, любуясь псом, но Камнев тронул меня за локоть, наверное, пожалел собаку. В кухне у порога нас встретили рыхловатый, с широким, полным лицом мужчина и женщина, несколько суетная, как мне показалось. Это были родители Петра.

Я присматривался к дому, к хозяевам. В кухне и в горнице украшения всякие и все связаны с природой: чучела, фигурки из кореньев, столь модные сейчас в городе, засушенные растения, и все это придает обстановке мягкость. Никандр Алексеевич, заметив мой интерес к убранству комнаты, с тарелкой в руке подошел к чучелу белки.

— Вот эта белка дымчатая за Сатанинкой-первой водится. Там покровительственная окраска — дымчатая, там ельник. А вот эта светлая белочка, эта жила в сосиах. А это вот «кузница дятла», Петя целиком ее взял.

В доме этом начал я понимать: не только что стены, а и мох в них, все пропитано Петей, его духом. Что ж, ведь он у них единственный.

Стол был накрыт. Петр вот-вот должен был подъехать. Никандр Алексеевич проводил меня в горницу. Тут надоевшие мне за месяц путешествия по деревням пышные кровати за цветными занавесками, комод, в простенке маленький столик и рядом этажерка с книгами. На столе коренья: коренья-люди, коренья-звери, коренья-молнии, коренья-избы. На иных бумажка наклеена, надпись: «Муки», «Свобода», «Жгущий глагол». Этикетки эти произвели на меня несколько странное впечатление: и без них все было ясно.

Подошел к этажерке. Смотрю, на гвоздике три модных галстука. Ну что ж, жених ведь. Книги все толстые, солидные; читаю на корешках: «Лесная книга», «Заповедники Советского Союза», «Времена года», «Эстетика», «Справочник егеря», «Русская пейзажная живопись». Несколько номеров журнала «Литературная учеба», издававшегося под редакцией Горького в 30-х годах. Отдельной стопкой лежат клеенчатые тетради. Спрашиваю разрешения посмотреть самую толстую. У Никандра Алексеевича чуть западает голос, когда он говорит, что это Петина «Лесная книга». Читаю: «Если белка низко на сучьях сушит грибы — не быть глубокому снегу», «Сорока поет — к плохой погоде. А зимой — к морозу кричит. Услышишь и не подумаешь, что сорока», «Если вам нужно обеззаразить гнилостную воду, опустите в котелок ветку черемухи и закройте крышкой. Через десять минут все бактерии будут убиты, воду можно пить».

А Петра все нет, родители начинают волноваться: обещал в два, а уже на исходе третий. Анна Петровна предлагает мне покушать, и вдруг рука ее с платком бросается к глазам. Слезы у нее первые, я успокаиваю ее, а она сдержать себя не может, начинает «маяться», говорит: «Ух, тошнешечко» — и раскачивается на скамейке, как маятник. Теперь уже и Никандр Алексеевич успокаивает ее, а она, пискнув как-то по-мышиному, поворачивается ко мне и говорит тоненьким, ослабевшим голосом: «После этого я прямо всего боюсь, как он уедет в лес — не могу дождаться».

— Так он уже был у вас сегодня? — спрашиваю я.

— Конечно, к девяти приезжал, а потом опять ушел, показалось ему, что кедры где-то валят. Прямо сам не свой.

Набравшись духу я, наконец, прошу их рассказать, как случилось тогда с Петром это, где они были в страшные минуты.

— Ох тошнешечки, ох тошнешечки!.. Никандр, а ведь мы в этот день чуяли, что будет неладно. Мы дрова все втроем пилили,— это уже мне,— и топор положили, сходили попить, пришли, а топор-то с другой стороны.

— Это она ходила, предупреждала,— пояснил Никандр Алексеевич.

— Овраг вон какой страшный, ну, думаю, как перейдем, все — быть несчастью! А оно вот тут и случилось, на этой стороне. Мы кончали косить и говорим: «Петя, пойди набери грибов».

— А далеко это от деревни?

— Близко! Пять километров... Он ушел, вдруг крик. Мать говорит: «Это медведь напал». Мы все бросили и бежали, бежали что силы было. Когда подбежали, Петя стоит около реки, весь в крови и за глаз держится. Я спрашиваю: «Что, Петя?» Он говорит, что медведь напал. Я говорю: «Как это случилось?» «Стал выходить, велосипед брать, и напал медведь». Ну, тогда что? Быстро, значит, что было силы я собрался и побежал в деревню. Когда лесом бежал, тоже кричал. По дороге попалась колхозница одна, сено косила. Спрашивает: «Что такое?..» Я говорю, что медведь напал на нас. Она, правда, быстро лошадь запрягла, лошаденка была неважная. Я подумал: тяжело коню, побегу я сбоку. Бежал без майки. Когда к деревне подъехали, контора была закрыта. Как попасть: окошки двойные. Я выставил рамы, залез, стал звонить. Рязаны отвечают, что никого нет, все на покосе. Я прошу: «Пожалуйста, на сына медведь напал, в тяжелом человек состоянии, если есть кто из медицины, присылайте...» Говорят, никого нет ни в конторе, ни в гараже. Звоню в Муромцево, «Скорую помощь» прошу, не могу через звонки пробиться! Вдруг кто-то понял мой крик, сразу мне — зеленую улицу. Дозвонился до «Скорой». Сейчас, говорят. Тут мне с Рязанов телефонистка: «Сейчас будет!..» Кто будет, чего будет?..

Щеки Никандра Алексеевича подрагивали.

Рисунки
О. КОКИНА.

— Ну, мы к ним навстречу, Петр и жена сидят, а я сбоку бегу. Бегу и плачу. Плачу и плачу. Только подумаю, что к нам со всех сторон на помощь, так еще пуще...

Анна Петровна вдруг вскинула радостно голову, просияла:

— Идет! Наконец-то!—бросилась к окошку, но тут же остановилась, потемнела, лицо, как у белки, что жила в соснах у Израка.— Что-то Петя сам не свой с лица.

Вошел русоволосый парень, стриженный под горшок, с белой повязкой на правом глазу. Отыскиваю в его лице то, что мне нужно, и нахожу: мягкая улыбка... Нет, это, очевидно, постоянное выражение его лица: приветливость, доброжелательность и доброе настроение.

— Пе-етя,— утирает слезы мать,— ну разве так можно?... Дрозд уже давно прокричал про чай.

— Я теперь, мама, такой оплошности уже не сделаю,— говорит парень мягко и приветливо смотрит на меня единственным своим глазом,— ружье у дерева не оставлю! А с заряженным ружьем мне кто страшен?

Что это еще за дрозд? Я не знаю, умиляться мне или пропустить мимо ушей. В доме, кажется, не та обстановка, чтобы мужественный парень представился своим родителям разлюбезным дитяткой, к их подолу привязанным. Это им нужно для успокоения. Поддавшись их настроению, я спрашиваю с простодушной улыбкой:

— Что это за дрозд у вас, который к чаю зовет?

— Да это мы так,— говорит, плавясь в улыбке, Анна Петровна.— По-домашнему, оно, видишь как... певчий дрозд кричит: «Ефим, Ефим, чай пить, чай пить!»

Петр проходит к столу. Он, догадываюсь я, тяготится сентиментальностью родителей и положением, в которое они его ставят, и говорит мне:

— Скоро меня перепелка спать посылать будет!

— Это как?

— А если слушать крик перепелки шагах в пятидесяти, то сначала услышишь: «Ва-ва-ва»,— а второе колено: «Спать пора!» Мои папа с мамой лесное царство не хуже меня знают.

Поулыбались.

— Сын, а что расстроенный такой?

— Срубили все-таки два кедра!

Следующие слова он говорит мне:

— Кедр срубить — это все равно, что стельную корову зарезать, не знаю, у кого только рука подняться может. Хочу вот встретиться с таким человеком и посмотреть ему в глаза. Растет дерево десятки лет, плодоносит, а тут приходит кто-то — и все! Ради вот нескольких десятков шишек. Не хочет залезать на дерево, а валит — так проще. Ныне много кедра уничтожено вдоль речки Ириски...

— Ну, а подозреваешь кого-нибудь? — спрашиваю я.

Анна Петровна хлопочет у стола, Никандр Алексеевич ставит на стол бутылку «Экстры».

Обед получился у нас нескладный, быстро свернулся. Я сказал, что мне хотелось бы сегодня побывать на том месте, и Петр начал сразу торопиться, так как ему нужно было еще отправить фенологические записи в Ленинград. Он начал было уговаривать меня погостить пару дней, но мне не позволяло время. Бутылка была отставлена. Я спросил Петра, как родилось у него решение пойти в охотоведы. Он ткнул вилкой в груздь, откинулся на спинку стула.

— А я не знаю. В первую же ночь в больнице лежу и чувствую — тянет меня на то место.

— Зачем? Застрелить медведя, что ли?

— Нет. Я об этом никогда не думал. Я там уже раз пять был, стоял возле той сосны, где она напала (то медведица была). Просто приходил и стоял там. Она там и сейчас живет, недавно пастухи видели, выходила овес сосать.

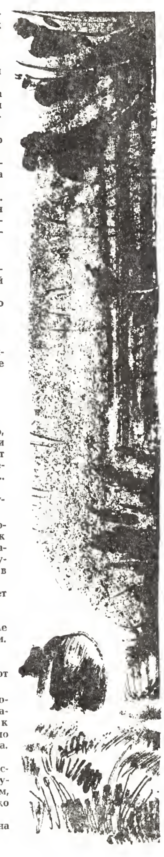
— Ну почему ты все же в охотоведы пошел?

— Так понимаю, что во мне давно жило желание работать в природе. Тот случай только все обострил. Убедительно?..

Никандр Алексеевич поднялся из-за стола первым и пошел к соседу попросить мотоцикл. Вскоре и прикатил на «Урале». Отправились мы втроем, отъехали километра три, я опять увидел малинник у дороги и проникся уважением к нашей маленькой по масштабам Сибири области, где на семистах километрах по меридиану уместились и голые степи и такие вот глухоманные лесные места. Медведи в шести километрах от деревни — это ли не экзотика!

Поехали вдоль леса, завернули. Слева открылась поляна с кустами. Петр остановил машину, а Никандр Алексеевич, сидевший в коляске, тронул его за рукав. И в этот миг я увидел, как серые вышли из-за куста и скрылись за другим, и поймал себя на том, что не столько вглядываюсь в лес, в глубь его, сколько вслушиваюсь в тишину.

— Вон там внизу протока Израк,— сказал Петр полушепотом,— а вот тут на полдороге к нему все и было. Что, папа?





Я хотел спросить, померещились мне волки, или кто-то все же был, но не набрался духу, подумал, что буду выглядеть смешным.

— У тебя ружье заряжено?

— Заряжено.

— После Петн она двух телят задрала. Крови, знать, хочет. Ночью было. Петра не было в деревне. Петя, а смотри, вроде овес сосмаргнутый. Вон на стволе.

Мы вылезли и кучкой пошли к поваленному дереву.

— Точно, срыгнутый овес,— сказал Никандр Алексеевич, как мне показалось, очень громко.— Значит, она где-то тут!

— А что,— мною овладело кислое желание пошутить,— что как действительно медведь выскочит, ружье-то у нас одно, что двоим-то делать?

— Завязывать кальсоны,— опять так же громко ответил Никандр Алексеевич.

— Вон та рана меня подвела.—Петр стал потихоньку спускаться вниз. Мои глаза вдруг повело от того места, опять почудилось возле кустов, там, где я видел серых, какое-то движение. Взгляд метнулся. Один, второй, третий быстро выходили из кустов.

— Вон журавли! — воскликнул тихо Петр.— Сейчас они выбегут на поляну и взлетят. Подойдемте поближе. Хотите посмотреть?

— Они нас уже видели?

— Конечно. Им нужен разбег, и они выйдут из кустов на поляну.

— Красивая птица,— сказал я, напряженно вглядываясь. Почему-то там, в том месте стоял легкий росный туман. В блеске его и поднялись птицы.

— Они, между прочим, не всегда красивы,— услышал я голос Петра.— Только когда стоят и в полете. А на взлете некрасивые, ногами так болтают, болтают.

— А они курлычат только осенью?

— Когда ходят по полянам, у них серебряные трубы, а когда улетают на юг, серебра в их криках уже нет. Вот сейчас перед взлетом обязательно один или два вскрикнут.

Журавли вышли, как небольшие человечки в серых тужурках, побежали, и тогда послышались серебряные трубы. На взлете они, правда, некрасиво болтали ногами, поднялись и скрылись за ближними деревьями.

— Интересная птица,— проговорил я.— Сколько с ней связано чувств, сколько ей посвящено стихов и песен. Я читал, что природа голосами журавлей хочет что-то сказать человеку, но человек до сих пор это не разгадал.

— Занятно,— отозвался Петр.— А я почему-то об этом не думал.

— А почему?

— Не знаю... Я думаю, что каждый должен понять это по-своему.

— Я понимаю так,— сказал я,— кто раздумывает о смысле жизни, у тех крики журавлей вызывают желание быть лучше.

— А в чем смысл жизни?

Он наклонился, погладил какой-то цветок.

— Сразу-то и слово не подберешь, чтоб выразить, что чувствуешь... Наверное, в том, чтобы каждое поколение людей было лучше предыдущего. И чтобы иметь детей и вырастить их такими, чтобы они были лучше тебя.

Подошел Никандр Алексеевич, протянул мне пучок костяники.

— Угощайтесь. Вот ведь... Слышал я краем уха ваш разговор. Оно, конечно, птица волнующая, каждого заставляет поднять голову. А ведь они улетают в общем-то на кормежку, потому что жрать хотят.

Видите, как даже очень близким людям чувствуется и думается разно!

— Ну пойдемте,— сказал вполголоса Петр и взял ружье наизготовку.

Впереди метрах в тридцати овраг огромный разверзся, а вправо, как раз против той сосны, ложок такой, уходит, уходит куда-то.

— Ты где стоял? — спросил я.— Вы где были, Никандр Алексеевич?

— Мы косили вон там наверху,— опередил Петр отца.— Уже немного осталось, отец сказал, чтобы я грибов набрал. Я пошел, набрал, решил помыть в речке. Велосипед свой вот тут положил, напротив сосны...—В траве, куда он показал, была как бы тропка, только примята не ногой человеческой, а мягко так.— Я спустился к Израку, помыл грибы, вернулся, уже сесть хотел и ехать, а потом подумал: ружье у меня за плечами, а кустарник густой и мелкий, задевать может, опасно, думаю, сниму и разряжу. Не знаю, что взбрело в голову, никогда не разряжал ружье. Только в патронташ патрон заложил и слышу справа с горки треск — вон оттуда.— И он показал на примятое место.— Глянул— медведица. Я закричал, чтобы она испугалась, а она с ревом на меня. Я велосипед-то схватил вот так, поднял, а она передо мной, я и надел на шею ей велосипед, как хомут. Все спокойно так делал, как оледенел. А потом отскочил в сторону сюда к сосне, у сосны легче с ней справиться, увертываться можно, зарядить, думаю, смогу. И помню, подумал только: сейчас кричи не кричи, раз уж она напала — не оставит. Но кричать надо: может, родители услышат.

— Мы ее рев сначала услышали, — сказал Никандр Алексеевич, — а потом твой крик страшный.

— Подскочил, а вокруг сосны рапа, мешает, путается. Но все же я успел зарядить, а она вот уже бежит на меня. Уже захлопнул, курок нажать осталось, а она лапой. Ружье вон там очутилось, метров за десять улетело. И она меня схватила за рюкзак, с затылка. А в рюкзаке грибы да бутылка из-под молока, может, это спасло. Схватила рюкзак, а меня к земле. Я перевернулся, на спину лег, а она наступила на меня двумя лапами и ревет, а я тоже кричу. Морда ее близко, у самых глаз. Я как увидел пасть раскрытую, ну, думаю, может, жив останусь, обе руки затолкал ей в пасть, и уцепился там не знаю за что пальцами, ногтями, что-то удобное там, как дверная ручка. И чувствую — спасен, она захрипела и вдруг побежала к лесу. Я у нее под брюхом, а руки в глотке.

— И долго она тебя тащила?

— Метров пятнадцать. Это я уж потом смотрел. А тогда... кровь лицо заливает. Ободрано все. Я соскочил, ружье нашел сразу, проверил, заряжено ли. К сосне встал и стою наизготовку. Ну, это уж так, минута потрясения... Она Израком ушла... Мать с отцом прибежали, кричат: «Что?» «Да медведь...» «Где?» «Не знаю». А сам весь в крови, они перепугались, бледные оба. Я говорю: «Папа, ничего страшного». Рукой зажал глаз. Подбежал к Израку, хотел смыть, а где там смоешь, почувствовал — надбровная кость у меня вырвана, колет руку. Мать прибежала: «Целый глаз? Целый глаз? Отвечай!» Я говорю: «Все целое».

Когда мы вернулись, Петр уселся за письмо, потом отнес его на почту, а после ужина мы пошли с ним к плотине.

Стали спускаться. Из-за крыш пара чирков вылетела.

— На кормежку идут, — остановился Петр, — на пруд.

— Красивые места у вас! — воскликнул я. — Пруд особенно...

— Это красота созданная. Пруда этого прежде не было.

Он спускался потихоньку, по тропинке в высоких цветах, и руки его касались их головок, как бы скользили по ним, лаская. Чуть пониже, примерно посредине косогора, тянулся редкий ивняк.

— Этот пруд — кормовая площадка, утки на перелетах здесь кормятся. Мы как сделали плотину, все переменилось. Вода поднялась, рыбу запустили, люди уже понемножку кормятся. И бобры тут расселились, и норка, и ондатра, и выдра. Бобер особенно по притокам плодится, по Ириске и по Израку.

— У вас что, план есть какой защиты природы?

— Конечно. Правда, насчет плотин — моя инициатива. А бобры и норка — согласно плану запущены. Они здесь были начисто выведены. Теперь все снова да ладом... — Он остановился возле куста шиповника. — Сейчас, знаете, такое интересное время. Человек уже опомнился, что так нельзя обращаться с природой... Человек выше природы, но не должен быть над ней, а вместе с нею! — Склонившись к кусту, вдохнув его аромат, Петр глянул на меня чуть смущенно. — Беда, что не все люди готовы сейчас к таким отношениям с природой. Государство большие деньги вкладывает в восстановление природы... Мы вот за последние пять лет высадили сотни тысяч деревьев, но поглядите, — он показал на почти засохшую, без коры молодую иву, — вот тут по косогору шел зеленый пояс, а теперь почти кладбище! Посмотрите, сколько скелетов!

Мы вошли в ивняк, я глянул вдоль него и обомлел: всюду, меж зеленых деревьев, были засохшие или засыхающие, бескорые.

— Одними деньгами отношения с природой не наладишь, надо к ней и с другой стороны подходить, с моральной. И с самых азов надо начинать.

— Какие азы ты имеешь в виду?

— ...С самих заступников природы. Вот посмотрите — черемуха с изломанными ветвями. — Он отошел чуть в сторону. — Уродина. Приехали тут из города и начали ломать, ягоду заготавливать с ветками. Я их остановил, а один грамотей мне книгу показывает «Дары леса», в Москве издана, а там черным по белому написано: вкусна черемуха, завяленная на ветках! Ну, неужели тот, кто писал, не знает, что черемуха относится к тем деревьям, которые особенно болезненно переносят ломку ветвей.

— Не знает, наверное...

— Дак кто дал ему право писать книгу! Или вот очень уважаемый всеми нами Михаил Михайлович Пришвин, большой знаток и ревнитель природы, я бы сказал даже, слуга природы, вот он любуется лесом и восклицает: а вот и красавец наших лесов иван-чай! А ведь иван-чай — злейший враг леса, там, где иван, там нет ни одного молодого деревца, он душит их. Тут надо было другие слова употребить. Даже другом природы быть нелегко, иные объективно к ней с добром, а на деле... А уж пользоваться природой—тем более нелегко. У нас есть Данилово озеро—голубой глаз такой в окружении лесов, там песок, как мрамор, на десять метров дно видно. Все лето там экскурсанты с палатками, вроде любители природы. Но ведь берега-то загажены. В песке стекло, в озере консервные банки. И с каждым годом все хуже. Честное слово! Вроде и люди-то хорошие, а вот потребительское отношение к природе неистребимо.

В мягких сумерках голос его кажется далеким, от волнения садится.





— Получается, что много людей жестоких по отношению к природе?— проговорил я.

— Человек ведь не зол от рождения-то. А это изъяны воспитания сказываются.

В кустах над нашими головами послышался шум. По тропинке спускался человек лет пятидесяти.

— Петро!

— Здорово, дядя Вася.

— Еще новый добытчик нашелся на лыке в запретной зоне, насчет трех рублей шестидесяти двух копеек, Гришка! Я вчера его поймал.

— Вот не ждал, что Гришка.

— Я тебя чё ищу-то. Тут с верховьев свояк приехал, плотину смотрел, очень уж понравилась, говорит, у себя надо поставить. Хочет с тобой поговорить.

— Это надо у себя на исполкоме сельсовета спросить. А там поможем. Как не помочь... Наш общественный инспектор,— сказал Липатов, когда человек отошел.— Мы двадцать четыре билета выдали добровольным нашим помощникам. А у каждого из них есть свои тоже помощники из охотников.— Он помолчал, затем вернулся к прежней мысли.— А у нас тут...— Он досадливо махнул рукой.— Вот эта двадцатиметровая полоса вдоль реки — заказник, и здесь нельзя ни рубить лес, ни заготавливать корье, потому что совсем усохнет речка, уйдет бобер, норка, выдра. И все-таки корье дерут здесь, потому что близко, потому что между делом, от обеда до ужина можно прийти и заработать 3 рубля 62 копейки, успеть сдать и в магазин сбегать. Я в этом году составил восемнадцать протоколов, на меня тут многие злы. Грозятся даже. Вы не задумывались, почему так много людей жестоких по отношению к природе?

— Сам говорил — изъяны воспитания...

— От необдуманности все. Ведь внушаем мы людям, что к природе надо относиться бережно, осторожно? Внушаем. Мы с детских лет слышим: «Нигде нет таких просторов, как у нас. У нас всего много, наши богатства неистощимы». Понимай так, что у нас вроде бы излишки природы. «Человек — хозяин земли» — то есть что хочу, то с ней и делаю. «Человек — царь природы» — она, мол, наша подданная. Да-а...

За разговорами не заметили, как оказались внизу, в густом потоке затихающего вечера, забранного в берега. Здесь мы замолчали, поднялись на глинистое тело плотины, подошли к прорану, посмотрели и послушали, как бежит вниз вода. И так же молча огляделись. Пруд здесь, внизу, не кажется вороненым блюдом, вода в нем, как прозрачная ртуть, тупо поблескивает. Урман загадочно глядит, а силуэты зубчатых елей на воде как наклеены. Беззвучно плавает рыба. Все замирает к вечеру.

— Я, знаете, однажды на лугу побежал за радугой,— услышал я тихий голос Липатова.— Это было на покосе за Верх-Кучумкой. Дождь прошел, солнышко выглянуло, и вот — радуга шагах в десяти. На моих глазах родилась. Я застыл, потом бросился. Она ушла и повисла в небе. Дома надо мной посмеялись: свое счастье упустил. Я тогда был ребенком,— продолжал Петр,— но отчетливо помню, что после того раза во мне появилось то, что раньше было в зачаточном состоянии — мечтательность какая-то появилась, восторженность, сентиментальность, что ли... Я не знаю, хорошо это или плохо. Вот вечер этот — лиши меня его или заката,— как от себя отняло. Я теперь радуюсь цветам, траве, воздуху, лесу, чувство такое, что это я сам. Сейчас вот век техники, рациональных решений. Города, скорости. Человек отдаляется от природы... И без нее как бы черствеет.

Он замолчал, очевидно, подыскивал слова.

— ...Понимаете... человека может смягчить романтика, романтические настроения. В Японии, я читал, директор может закрыть на полдня школу, чтобы вместе с учениками полюбоваться вишневым садом. Школьников вывозят ночью на острова, переправляют через лагуны в те места, с которых луна особенно хорошо видна. Как-то, может быть, по-другому, но нам тоже нужно заботиться, чтобы человек с детства проникался красотой природы, ее гармоничностью, целостностью. Общество должно научиться использовать природу, как средство или как фактор формирования личности.

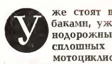
...Сумерки за оврагом сгущаются сильнее. Верхний край тучи горбато выпятился в синем небе. А нижний опускается в виде завесы над лесом.

— Дождик все-таки будет,—слышу я голос Петра,— но не обложной. Если обложной, это сразу чувствуется. Глухо и тихо становится. А сейчас, чувствуете, как бы остеклянело что-то. Туча прольется ночью, а утром будет солнышко.

Он говорит, а я вглядываюсь в его лицо и думаю, как на месте в этом диковатом лесном краю этот парень, как это вообще хорошо, что есть у нас вот такие парни, мужественные, сильные, с душой чуткой и нежной.

Николай ЧЕРКАШИН

ТАНКИСТЫ



Уже стоят в боксах танки с заправленными баками, уже вползает на нашу ветку железнодорожный состав — низкий и плоский от сплошных платформ. Уже выехали в ночь мотоциклисты военной автоинспекции, уже разложены по планшетам гармошки топокарт, уже невмоготу ждать: «Ну, вот сейчас, ну, вот сейчас грянет «тревога».

Я не знаю, как именно она «грянет» — то ли по старинке — загрохочет малый барабан и зальется горн, то ли взвоет сирена, то ли кто-то заорет благим матом — «Подъем! Тревога!» Для меня это первые учения такого рода, и я всерьез волнуюсь, потому что знаю по рассказам бывалых товарищей: за этим безобидным словом кроется нечто похожее на настоящую войну. И пусть не будут падать убитые и гореть танки, там, куда мы сейчас отправимся, нас ждут и бессонные марши, и выстрелы врасплох, и злые слезы неудач, и ярость закушенных губ, и, может быть, победа, а может,—поражение...



Заведи старший лейтенант Наумов «Ой да ты не вейся надо мною, черный ворон...» — и все бы, кто шьет сейчас в канцелярии планшеты, помогли бы ему хрипловатыми голосами. Но ротный, сломав в ключицах новенькие



погоны, уткнулся в список походного имущества.

— Палатки взяли, — бормочет он. — Лыжи есть, ракеты есть... Гриша, «поларис» доварили?

— Доварили,— рассовывает цветные карандаши по газырям полевой сумки лейтенант Биржевой.

«Поларис» — это самодельная (танкистский вариант «буржуйки»), заваренная снизу труба, в которую наливается газойль. Труба ставится торчком и поджигается. Жар от нее идет далеко, ровно.

Бег солдат по тревоге... На сей раз это было скорее комичное, чем воинственное зрелище: танкисты, кургузые в зимних комбинезонах, с валенками под мышками, неслись во весь дух по ночной заснеженной аллее. Можно было подумать, что они убегают от некой опасности, чей глухой рев поднял их с коек, бегут, спасаясь сами и спасая заодно великую ценность в такие морозы — добротные сибирские валенки. Однако они неслись как раз туда, где рождался, креп и набирал голос этот свирепый рев,— к длинным косокрышим баракам, конюшням не конюшням, но строениям, явно приспособленным для содержания и быстрого вывода слоноподобных животных из огромных дверей. Один за другим широколобые, приземистые танки, рыча и отфыркиваясь клубами

На снимке: Атака.

Фото Г. ШУТОВА.



ИВАН РОЗАНОВ — ДРУГ ПОЭТОВ



На дверях этой комнаты скромная табличка: «Библиотека русской поэзии Ивана Никаноровича Розанова».

Почти шестьдесят лет Розанов собирал свою библиотеку. В свое время он был студентом Московского университета, дружил с начинающим тогда поэтом Брюсовым. В юбилейный, 1899 год молодой филолог получил пушкинскую медаль за работу «Грибоедов и Пушкин». Розанов стал маститым ученым, профессором. Автором замечательных книг: «Русская лирика», «Пушкинская плеяда», «Литературные репутации» и многих, многих иных трудов о русской поэзии, о теории стиха, об истории книги, о русской песне.

Шли годы... А библиотека все пополнялась. Одна к одной становились на полки книги. Позолоченные, с тиснением и в коже фолианты восемнадцатого века, изысканные первоиздания с виньетками и гравюрами начала девятнадцатого, солидные тома конца века, пестрые тетрадочки литературных школ девятисотых годов, «летучий дождь брошюр» (выражение Маяковского) советской поэзии.

И вот ныне библиотека Ивана Никаноровича Розанова воистину единственное в своем роде и неоценимое сокровище. Вдова Розанова Ксения Александровна Марцишевская передала эту библиотеку — около восьми тысяч книг — в дар московскому Музею Пушкина, тому, что на Кропоткинской улице.

Розанов считал, что поэзию надо видеть целиком, воедино. Надо знать все, чтобы выделить лучшее. Да и во второстепенном для зоркого глаза откроется немало красоты, прелести, живых и талантливых строк. И, кроме того, сам вид подлинного прижизненного издания поэта, расположение стихов, шрифт, рисунки, обложка, надписи на полях, сделанные рукой поэта или современного ему читателя, могут много сказать исследователю.

Чтобы вы могли представить хотя бы отдаленно ценность библиотеки Ивана Никаноровича Розанова, расскажу лишь о трех ее книгах.

Вот тоненькая серо-голубая книжечка. На титульном листе напечатано: «Глинский». Дума. Перевод с польского К. Рылеева. Санкт-Петербург. 1822». У верхнего края книги выцветшая рыжеватая надпись: «Милой сестрице Н. М. Кореневой». (Это надпись сестре жены поэта.)

А ведь книги поэта Рылеева, одного из руководителей декабристов, повешенного в 1826 году на кронверке Петропавловской крепости, были почти целиком уничтожены николаевскими властями.

На полках же розановской библиотеки стоят три его книги: «Глинский», «Думы» и «Войнаровский». Кто знает, в чьих руках могли побывать эти книги, которых осталось всего несколько экземпляров? Их мог читать Пушкин, хранить Вяземский. Быть может, они путешествовали в Сибирь со ссыльными декабристами, быть может, они стояли в шкафах Герцена, Огарева, Некрасова?

Ими пользовались при составлении самого точного и полного издания Рылеева (ибо в прочих изданиях некоторые строки из этих книг не учтены) и будут пользоваться еще много раз.

А вот книга совсем иного рода. Голубая обложка с лирой и неким подобием античного храма. Имени автора нет, есть название — «Собрание стихотворений», а на обороте обложки напечатаны удивительные слова — «уговорили выпустить»...

Это анонимная книга лирических стихотворений очень известного в двадцатые — сороковые годы прошлого века поэта-юмориста Ивана Мятлева. Того самого, которого вспоминал Пушкин, которому Лермонтов признался в стихах в любви (смотри стихи Лермонтова «В альбом автору «Курдюковой» и «Любил и я в былые годы»).

В книге этой Иван Мятлев напечатал стихи, начинающиеся такими строками:

Как хороши, как свежи были
розы
В моем саду! Как взор
прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною
рукой!
Как я берег, как я лелеял
младость
Моих цветов заветных,
дорогих;
Казалось мне, в них расцветала
радость;
Казалось мне, любовь дышала
в них.

Первая строка этих стихов слишком хорошо известна. Мы привыкли ее связывать с именем Ивана Сергеевича Тургенева. Но сам Тургенев вспоминал так: «Где-то, когда-то, давно-давно тому назад я прочел одно стихотворение...»

В двадцатом веке эта строчка объявилась в стихах Маяковско-

На снимке: И. Н. Розанов в библиотеке (фото пятидесятых годов).

го, проникла в пародийную песенку, стала почти поговоркой. А первоисточник таился в одной из самых редких книг розановской библиотеки — анонимном сборнике Мятлева.

И вот третья книга. Всего несколько листков в черно-красной траурной обложке. Издание это даже не зарегистрировано Книжной палатой.

А между тем это первая отдельная публикация вступления в поэму «Во весь голос» Владимира Маяковского. Оно было выпущено издательством «Московский рабочий» через несколько дней после смерти поэта. Стихам предпосланы портрет Маяковского и обращение секретариата Российской ассоциации пролетарских писателей.

Труд жизни Розанова, его библиотека, продолжает свою жизнь. Разве не чудесно, что можно снять с полки старую, но отлично сохранившуюся книгу и на слегка шероховатой превосходной бумаге с водяными знаками прочесть напечатанные крупным, изысканных очертаний шрифтом стихи:

> ...И пробуждается поэзия во мне:
> Душа стесняется
> лирическим волненьем,
> Трепещет, и звучит, и ищет,
> как во сне,
> Излиться, наконец, свободным
> проявленьем...

Эти строки Пушкина мы читаем в книге, изданной сразу после смерти великого поэта.

Евгений РЕЙН

«ФАУСТ В 22-м ВЕКЕ»

Представьте себе, что Фауст, бессмертный герой поэмы Гете, оказывается в 22-м веке. И так же, как и триста лет назад, пытаясь познать истину, он попадает в лапы к Мефистофелю. А коварный дьявол привозит его ни больше ни меньше, как к самому господу богу, который, восседая на облаке, сосредоточенно изучает Большую Советскую Энциклопедию. Да, поистине в 22-м веке познание будет немыслимо без овладения огромным количеством информации...

Это веселое представление на тему «Фауста» придумали школьники старших классов — члены политического клуба «Глобус», созданного в школе № 11 города Сумгаита. Театрализованное приветствие «Фауст в 22-м веке» было «гвоздем» их программы, показанной на городском комсомольском конкурсе эрудитов, на котором «Глобусу» было присуждено первое место.

Сумгаит — один из самых молодых и, быть может, самый интернациональный город в нашей стране. В этом году город отмечает двадцатипятилетие. Известно, что средний возраст жителя Сумгаита — 26 лет. Не удивительно, что каждый день здесь играют три-четыре свадьбы, а рождаемость — самая высокая в Союзе. На десяти больших заводах Сумгаита работают представители более чем семидесяти наций и народностей.

«Глобус» возник в школе № 11 семь лет назад. Руководитель клуба, учительница истории М. И. Коваль, отдает ему все свободное время. Это она предложила ребятам изучать мир: прежде всего свой Азербайджан — и каждый год новую страну.

Первой страной была выбрана Япония. Ребята ездили в Баку в Союз художников, в Союз писателей, в Дом дружбы... Материалов собралось очень много. В Доме дружбы нашли специального консультанта, упросили поставить танцы. Выучили японские песни. Сообщение об экономике, потом — танец, доклад об искусстве, затем — песня, а дальше — рассказ об икэбане, науке составления букетов, и девочка, переодетая в японку, сложила тут же несколько букетов...

М. И. Коваль угадывает в каждом из ребят его наклонности и пристрастия и советует, в какой из секций клуба ему будет интересней. Она предложила собирать архивы клуба, и теперь «Глобус» — обладатель интереснейшей коллекции, где есть все: от марок и старинных конфетных оберток до редчайших экспонатов, раздобытых секцией краеведов.

Так, например, в прошлом году в древней крепости Чирах-Кала девятиклассник Вагиф Исмаилов из «Глобуса» буквально «отрыл» ценнейшую находку — кусок древнего керамического водопровода. Вслед за этим в крепость была организована экспедиция, и вот трофеи: отпечатки рыб и водорослей на камнях и глине, обломки и детали старинных украшений и, главное, непонятная окаменелость странной формы и цвета. Кто-то из ребят разглядел на этой окаменелости остатки зубов. Решили отвезти окаменелость в Баку и проконсультироваться со специалистами. И теперь спорят уже ученые: что это, сталактит или челюсть редчайшего древнего животного?

Ел. БОКШИЦКАЯ



18.803.000!!!

Вы видите первое издание знаменитой книги Николая Островского «Как закалялась сталь». С 1932 года, когда эта книга впервые вышла в свет, и по нынешний год — год семидесятилетия со дня рождения Николая Островского — «Как закалялась сталь» выдержала в нашей стране 385 изданий. Общий тираж этой настольной книги многих поколений нашей молодежи — восемнадцать миллионов восемьсот три тысячи экземпляров! — не знает себе равных в истории советской литературы.



Л. ЛЕВИН

ЧЕМ ДАЛЬШЕ УХОДИТ В ИСТОРИЮ...

1. «ГДЕ ЧЕЛОВЕК, А ГДЕ ЖИВОТНОЕ»

До Отечественной войны я жил в Ленинграде, на Петроградской стороне в коммунальной квартире. Отсюда ушел на войну, сюда вернулся после пяти лет военной службы — в неуютную, продолговатую комнату с давно не топленной круглой гофрированной печкой и единственным окном, которое друзья-соседи забили фанерой, ибо стекла вылетели при обстреле или бомбежке.

Мои добрые соседи — муж и жена — все дни блокады провели в осажденном городе, а своего сынишку Славку — в начале войны ему шел четырнадцатый год — эвакуировали, кажется, в Сибирь. Славка тоже дружил со мной и нередко захаживал по соседству за книжкой или просто поразговаривать на интересовавшие его темы.

Вернувшись домой после войны, я не узнал своего маленького приятеля — передо мной стоял рослый, красивый юноша спортивного вида. Потом выяснилось, что он и в самом деле занимается спортом — борьбой, лыжами, стрельбой из лука.

Вскоре я переехал в Москву, а Славка окончил художественное училище, женился, обзавелся детьми и уже давно превратился в Ростислава Ростиславовича. Изредка мы с ним видимся в Москве или Ленинграде и, конечно, обмениваемся праздничными поздравлениями.

Прошлой весной Славка поздравил меня с Днем Победы. «Поздравляю вас с днем большого праздника, с Днем Победы,— писал он.— Чем дальше уходит в историю этот день, тем большее уважение испытываю я к участникам этой Великой и Страшной войны».

Надо сказать, что Славка — надеюсь, мой друг Ростислав Ростиславович не обидится, что я по старой памяти продолжаю его так называть! — никогда не отличался литературными наклонностями. Более того, к современной литературе он всегда относился скептически, а моей профессии критика и вовсе не сочувствовал.

Тем дороже было для меня его поздравление.

Сравнительно недавно вышла (и добавлю в скобках, прошла незамеченной) книга Владимира Краковского «Лето текущего года». Я знаю Краковского — он лет на десять моложе моего друга Славки и уж, во всяком случае, не был на войне. Герой же его повести Витя — совсем мальчик, подросток, еще не расставшийся со школьной скамьей. Но по отношению к Отечественной войне и ее участникам он испытывает такие же чувства, как годящийся ему в отцы Ростислав Ростиславович.

Витя живет полной жизнью современного человека своих лет — радуется переезду на новую квартиру, участвует в школьных спектаклях, лучше всех в классе знает латинские изречения, во время уроков пишет записки девчонкам, увлекается звездным небом и совсем между делом успевает учиться на отлично.

Самая любимая его учительница — Полина Викторовна, преподающая историю. Эта тихая на вид старушка во время войны была партизанкой. Она рассказывает Вите о молодом красноармейце, который засел на холме с пулеметом и в течение двух суток преграждал путь немецким войскам. Фашисты штурмовали холм, обстреливали его из орудий, пускали на него танки, но не могли им овладеть. Холм замолчал только после того, как на него были сброшены тонны бомб. Увидев, что путь им преграждал один человек, немцы были потрясены. Их командир приказал, чтобы советского солдата похоронили с воинскими почестями, а на могиле водрузили огромный валун. Через месяц после этих событий, когда холм был уже в глубоком тылу у немцев, примчавшийся на машине гестаповец приказал сбросить валун в реку, а офицера, установившего этот памятник на могиле советского солдата, расстрелять и закопать здесь же.

Теперь, через много лет, юные следопыты ищут этот валун на речном дне: «...вся деревня ныряет с обрыва, вся молодежь деревни — ищут камень и надеются, что на нем высечена фамилия героя». Полину Викторовну просят заняться этим делом, а она приглашает с собой Витю.

Валун поднимают со дна реки, но имени героя на нем нет. На камне высечены слова: «Спиритус флат уби вульт». По-латыни это означает: «Дух веет, где хочет».

«Лето текущего года», повторяю, повесть о нашей

современности, о сегодняшнем советском подростке со всеми характерными для него особенностями. Интерес к безымянному герою, в одиночку преградившему путь фашистским войскам, не навязан Вите писателем. Мы повседневно наблюдаем этот интерес в нашей жизни — вспомните хотя бы Валю Савельеву, которая открыла имена более восьмисот героев, павших в молдавском селе.

Однако героический эпизод, рассказанный В. Краковским, интересен не только сам по себе.

Деревенская молодежь собирается на том самом историческом отныне холме, чтобы послушать Полину Викторовну. «Молодые люди, — обращается Полина Викторовна к своим слушателям,— кто из вас сумеет объяснить, что такое человек? Я прошу дать определение. Но такое, чтоб четко разграничивало, где человек, а где животное».

Один парень заявляет, что человек умеет думать, а животные не умеют. Полина Викторовна отвергает это определение: способность к мышлению есть в зачатке у многих животных, а дельфины, например, так отлично думают, что «некоторым людям стоит даже у них поучиться». Другой парень говорит, что человек — это существо, умеющее ходить на двух ногах, третий, что человек — это животное, которое не только пользуется дарами природы, но умеет сеять и пахать. Со всеми этими ответами Полина Викторовна не соглашается.

Какова же ее собственная точка зрения?

«Человек почитает своих предков,— говорит Полина Викторовна.— Любое животное, став взрослым, забывает своих родителей. А главное — охладевает к ним. Своих бабушек и дедушек не почитают даже, наверное, дельфины. И уж совсем недоступна животным память о далеких предках. А мы, люди, помним о них».

Не берусь судить, насколько эта точка зрения научна. Не знаю, действительно ли люди отличаются от животных только тем, что почитают своих предков. Но несомненно, что люди, отказывающиеся почитать своих предков, не имеют права называться людьми.

В мою задачу не входит критический анализ повести «Лето текущего года». Если бы я ставил перед собой такую задачу, вероятно, пришлось бы указать, что В. Краковский во многом пошел по привычному пути и что созданный им образ школьника напоминает другие образы, с которыми мы уже не раз встречались в литературе. Но при всем том повесть «Лето текущего года» заставляет себя читать. Думаю, что сверстниками ее главного героя она читается с интересом и не без пользы.

В. Краковский как бы соединяет два пласта времени, сопрягает нашу современность со все дальше уходящими в историю днями «Великой и Страшной войны», поэтизирует поиски, призванные воскресить для новых поколений образы героев войны и картины военных событий. Рассказанный в повести фронтовой эпизод примечателен и сам по себе. Но дело прежде всего в том, какие чувства он пробуждает в душе Вити. Мальчик новыми глазами глядит на «тихую старушку» Полину Викторовну. Нельзя сказать, что после своего знакомства с безымянным героем войны Витя существенно меняется. Но что-то в нем становится иным. Происходит то накопление опыта, которое принято именовать возмужанием.

Повесть В. Краковского рассчитана в первую очередь на читательскую молодежь. Вполне возможно, что юных ее читателей отношения Вити с красивой девочкой Ирой увлекут гораздо больше, чем его отношения с Полиной Викторовной.

В повести Василя Быкова «Обелиск», речь о которой еще впереди, шестидесятидвухлетний Тимофей Титович Ткачук, до войны — сельский учитель, в военные годы — партизан, ныне — пенсионер, говорит: «Знаешь, не могу смотреть кино, если жалостливое какое или особенно про войну[1]. Как увижу то горе наше, хоть и давно уже все пережито и помалу забывается, а, знаешь, что-то сжимает в горле. Да еще музыка. Не всякая, конечно, не джазы какие, а песни, которые тогда пели. Как услышу, ну просто нервы пилой пилит».

Было бы нелепо навязывать эти ощущения юным читателям повести «Лето текущего года». Пусть себе спокойно слушают джазы. «Песни, которые тогда пели» сегодня способны потрясти, быть может, только тех, кто пел их тогда...

Но если бы Тимофей Титович Ткачук продолжал свою педагогическую деятельность и говорил бы со своими питомцами о повести В. Краковского, он, не сомневаюсь, постарался бы сосредоточить их внимание на теме минувшей войны.

То же самое хочется сделать и мне.

Ведь человек отличается от животного тем, что почитает своих предков. Даже такие умные животные, как дельфины, наверное, не вспоминают своих бабушек и дедушек...

2. «СОХРАНИТЬ ТАКОЕ ЧУВСТВО В МАЛЬЧИШКЕ»

Герой повести Анатолия Рыбакова «Неизвестный солдат» Сергей Крашенинников, по прозвищу Крош, несколько старше, чем Витя из «Лета текущего года». Это совсем разные характеры, но есть между ними и нечто общее.

Сережа спрашивает внучку солдата, геройски погибшего на войне, как его имя и отчество. Девушка отвечает, что ее отца зовут Валерий Петрович, значит, дедушку звали Петр. А отчества она не знает. Сережа — интеллигентный мальчик, еще более интеллигентный, чем Витя. Он, видимо, собирается стать писателем, о чем Витя и не помышляет. Когда девушка не может назвать ему отчество своего деда, Сережа беспощадно сражает ее цитатой из Пушкина: «Уважение к минувшему—вот черта, отличающая образованность от дикости...»

После этого девушка почтительно спрашивает его: «А вы где учитесь?» «На филологическом»,— без запинки отвечает Сережа, хотя не учится нигде — совсем недавно на вступительном экзамене по литературе он вместо ответа стал развивать «собственные мысли о Салтыкове-Щедрине», но они не заинтересовали экзаменатора, и с мечтой об университете пришлось расстаться, по крайней мере до следующего года. В другом случае Сережа скажет, что учится на четвертом курсе автодорожного института, и на удивленно-восторженный возглас: «Сколько же вам лет, когда вы успели?»—не моргнув глазом, небрежно ответит: «Меня приняли в институт досрочно, как особо одаренного дипломанта всесоюзного математического конкурса». Мальчишка, хотя бы и мечтающий стать писателем, остается мальчишкой.

Однако приведенную этим мальчишкой цитату из Пушкина наверняка с удовольствием использовала бы Полина Викторовна в своем разговоре с деревенской молодежью.

Человека отличает от животного то, что он почитает своих предков. Образованного человека отличает от дикаря то, что он уважает минувшее. Согласитесь, что эти формулы очень близки друг другу.

---

[1] Здесь и всюду в дальнейшем разрядка моя. — Л. Л.

Не ими ли, в сущности, определяется пафос тех произведений, о которых идет речь в моих заметках?

Советская литература посвятила немало отличных книг Отечественной войне, медленно, но неотвратимо уходящей все дальше в историю. Не буду их перечислять — все они в памяти у читателей.

Но за последние годы появилось немало и таких книг, где перед нами не просто картины военных событий сами по себе, но как бы взгляд на эти события из сегодняшнего дня, переплетение двух пластов времени, сплав истории и современности.

Таков, например, роман Анатолия Землянского «Пульс памяти». Нельзя сказать, что этому роману повезло в критике. Не в том смысле, что ему была дана неправильная оценка, а в том, что он был недостаточно замечен. Между тем в этом романе поэтически (недаром его автор — поэт!) воплощена неразрывная связь времен, все более становящаяся одной из главных идей нашей литературы.

Роману «Пульс памяти» предпосланы два эпиграфа, один из Пушкина:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
(На них основано от века,
По воле бога самого,
Самостоянье человека,
Залог величия его).

Опять та же неотступная мысль об уважении к минувшему!

На любви к родному пепелищу и к отеческим гробам, утверждает Пушкин, основано самостоянье человека. Произнося это удивительное слово, Пушкин, быть может, думал именно о том, что́ отличает человека от других живых существ, что̀ делает его человеком.

Герой «Пульса памяти» ищет могилу своего отца, погибшего на одном из фронтов Отечественной войны. Сквозь эти поиски проступает целая человеческая жизнь, прожитая честно, беззаветная, пролегшая через «горы горя» и в конце концов в самом точном смысле слова принесенная на алтарь Отечества. Возникает образ неподдельного человеческого обаяния, редкой чистоты, некоей первозданной цельности.

Благодаря своей свободной композиции «Пульс памяти» легко вмещает в себя картины деревенского детства, и военные эпизоды, и серьезные размышления о великих традициях чести, совести и долга, выкованных в огне минувшей войны.

«Что б ни случилось, сын,— будь самим собой. Что б ни случилось. Слышишь? — И словно боясь, что я не до конца пойму его, добавил: — Не двои душу. Хоть там что. Хоть самое худшее. Не двои. Потому как из половинок она уже целой не делается». Эти слова отца сын проносит через войну, через всю свою жизнь, в них воплощается то, во что отец свято верил, они заставляют сына искать и найти отцовскую могилу...

В одном ряду с «Летом текущего года», «Обелиском», «Неизвестным солдатом», «Пульсом памяти» должны быть названы «А зори здесь тихие...» Б. Васильева, «Волчья стая» В. Быкова, «Дом на Фонтанке» Д. Гранина, «Шопен, соната номер два» Е. Носова, «Ясным ли днем» В. Астафьева. Все эти повести и рассказы так же не похожи друг на друга, как их авторы, и все-таки стоят, как мне кажется, в одном ряду.

Два произведения из этого ряда — «А зори здесь тихие...» и «Неизвестный солдат»—печатались в «Юности», но вряд ли разговор о них на страницах того же журнала покажется нескромным — ведь оба они давно стали достоянием всей нашей литературы в целом...

Весьма развернуто и, если так можно выразиться, эффективно в художественном отношении прошлое и настоящее сосуществуют в «Неизвестном солдате».

Интересно, что за более чем четверть века литературной работы Анатолий Рыбаков, сверстник Тимофея Титовича Ткачука и мой собственный, человек, прошедший на войне нелегкий путь от рядового до майора, кавалер многих боевых наград, никогда не обращался к военной теме. В этом отношении его писательская биография имеет нечто общее с биографией другого талантливого представителя нашего литературного поколения — Галины Николаевой. С той только разницей, что Николаева начала с фронтовых стихов, дебютировала в прозе фронтовым рассказом, но после этого к теме Отечественной войны не возвращалась.

Наоборот, Эммануил Казакевич долгие годы не мог писать ни о чем, кроме войны. Переселившись на Владимирщину, он провел там немало времени, собирался писать на деревенском материале, а вернувшись в Москву, написал... «Дом на площади», роман о первых шагах советской военной администрации в освобожденном от фашистов немецком городке.

Есть ли здесь какие-нибудь закономерности? Трудно сказать. Ясно одно: в душе каждого писателя, участвовавшего в «Великой и Страшной войне», воспоминание о ней не только не слабеет с годами, но, наоборот, становится все более пронзительным и острым. Впрочем, можно ли назвать воспоминанием то, чем обогатила душу каждого ее участника Отечественная война? Скорее это уж не воспоминание, а память. Да и память здесь, вероятно, не самое точное слово! Вот как сказал об этом в своем рассказе «Ясным ли днем» Виктор Астафьев: «Покой был на земле и в поселке. Спали люди. И где-то в чужой стороне вечным сном спал орудийный расчет, много орудийных расчетов. Отяжеленная металлом и кровью многих войн, земля безропотно принимала осколки, глушила в себе отзвуки битв, но в теле старого солдата война жила неизбывно. Он всегда слышал ее в себе».

Обратившись к войне, А Рыбаков, как говорится, с порога показал, что память о ней и прежде всего, конечно, о ее людях неизбывно живет в его душе.

Прислушайтесь хотя бы к тому, как разговаривает в «Неизвестном солдате» старшина Бокарев, возглавляющий группу военных шоферов, чьи потрепанные грузовики предназначены к сдаче на походноремонтную базу.

«Много рассуждаете, рядовой Огородников! Где ваша винтовка?», «Оружие бросил. Солдат, называется! За такие дела — трибунал!», «Много берете на себя, рядовой Лыков!», «Рядовой Огородников... отвязать козу и препроводить в населенный пункт», «Вакулин и Огородников — очистить колодец от посторонних предметов, Краюшкин и Лыков — заготовить новые венцы! Гражданское население прошу доставить ведра, веревки, багры в нужном количестве» — все это не сочинено, а услышано на войне.

«Вакулин, Краюшкин! — приказывает Бокарев.— Разместите людей!» Спрашивается: кого должны разместить Вакулин и Краюшкин? Кроме самих себя,— Бокарева, Огородникова и Лыкова. Но старшина Бокарев знает, как подобные распоряжения отдаются большими начальниками, и не хочет от них отставать.

С «гражданским населением» Бокарев разговаривает совсем иначе. Когда солдаты поднимают Вакулина из колодца и он появляется «в трусах, майке, сапогах и широкой соломенной шляпе, с которой капала грязь,— черный как трубочист», Бокарев говорит бригадиру Клавдии: «Вот на какие жертвы идет геройский советский солдат во имя тыла» — и, накло-

нившись к ней, тихо добавляет: «А вы, чуть что, отодвигаетесь...»

В отличие от героя повести «Лето текущего года» Сережа Крашенинников не сразу увлекается поисками чужой воинской славы.

Когда бульдозер натыкается на неизвестную солдатскую могилу, начальник участка Воронов приказывает Сереже поехать в город и поспрашивать, кто в ней похоронен. «Я был поражен таким странным приказанием, — признается Сережа. — А почему именно я?» И сразу вслед за этим: «Почему именно я должен ходить по домам и спрашивать, чей покойник на дороге?»

Вообще-то Сережа знает, что во многих школах существуют штабы рейда «Дорогой славы отцов», но в его школе такого штаба нет и он впервые видит его в школе, куда приходит с Наташей. Мгновенно вспыхнувший интерес к Наташе играет во всей этой истории отнюдь не последнюю роль. Танцплощадка, куда можно пойти с Наташей, на первых порах волнует его гораздо больше, чем безвестная солдатская могила.

Но вот дедушка показывает Сереже фотографии своих погибших на войне сыновей: «Пришло матери извещение: погибли в боях,— а где их могилы, не знаю. Все бы отдал, чтобы узнать». Дедушка говорит об этом просто, обыкновенным тоном, а у Сережи вдруг перехватывает горло: никто никогда не говорил ему, что дядья похоронены неизвестно где, а сам он не интересовался этим.

Так в душе Сережи происходит неожиданный для него самого перелом, и он уже с истинным увлечением отдается поискам неизвестного солдата. Это увлечение опять-таки не навязано герою писателем. Мы видели, как оно возникло, и поэтому верим и писателю и его герою. «То вовсе не хотел идти, а теперь бежит, не остановишь...» — с удивлением говорит о нем Воронов.

Вернувшись в Москву, Сережа с наслаждением окунается в привычный домашний уют и даже думает, что «то было случайное, блажь какая-то. Все. Кончено», но тут же резко обрывает себя: «Впрочем, не кончено. Я должен повидать Стручкова, обещал дедушке все узнать и написать». И дальше: «...я и сам немного этим интересовался: кто из пяти разгромил штаб?»

Перед встречей с бывшим командиром походно-ремонтной базы Стручковым Сережа останавливается в Александровском саду возле могилы Неизвестного солдата. Глядя, как люди идут с цветами к этой могиле, на которой высечено: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»,— он думает «о том, другом, который лежит на холмике, у дороги, возле города Корюкова, безвестно погибший и безвестно похороненный нами, без почестей и оркестра. Опять зарастет травой его могила, и не будет на ней ни цветов, ни надписей. А ведь он такой же, как этот. Оба они Неизвестные солдаты».

После этого нас нисколько не удивляет, что Сережа возвращается в Корюков. В кармане у него полученный от Стручкова список солдат. Но кто же из них разгромил немецкий штаб? Еще недавно Сережа этим немного интересовался. Теперь тайна солдатской могилы поглощает его целиком: он рассылает письма в военкоматы, едет в Псков, чтобы повидаться с Краюшкиными, затем отправляется в Красноярский край к матери Бокарева.

Мы верим, что Сережа Крашенинников может так думать, чувствовать и поступать. А человек, думающий, чувствующий и поступающий так, навсегда приобщен к памяти павших в той «Великой и Страшной войне». Он полон уважения к минувшему. Он имеет право называться человеком.

Инженер Виктор Борисович дает Сереже сто рублей на поездку в Сибирь. «Это то, что зарождается в таком вот Сережке,— говорит он Воронову.— И сохранить такое чувство в мальчишке ценнее всего».

Какое чувство имеет в виду Виктор Борисович?

Вероятно, именно то самое глубоко патриотическое уважение к минувшему, которое, по слову Пушкина, отличает образованность от дикости. Ведь Пушкин понимал «образованность» не в нашем сегодняшнем смысле, а гораздо шире — недаром он противопоставлял ее «дикости».

3. «БУДЕТ ПОНЯТНО, ПОЧЕМУ ВАМ УМИРАТЬ ПРИХОДИЛОСЬ!»

Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие...» известна самым широким читательским кругам, инсценирована (блестящий спектакль поставлен по ней Ю. Любимовым в Театре на Таганке), экранизирована, исследована вдоль и поперек. Но по ходу моих заметок я никак не могу обойтись без нее.

Строго говоря, в повести Б. Васильева нет тех двух планов, о которых шла речь в связи с «Неизвестным солдатом», то есть прошлого и настоящего. Если уж говорить о разных планах, то в «Зорях» сосуществуют прошлое и еще более давнее — довоенное — прошлое.

Современность, пожалуй, лишь дважды врывается в это повествование об одном из глубоко драматических эпизодов минувшей войны. Первый раз — в разговоре старшины Васкова со смертельно раненной Ритой Осяниной. Второй раз — в эпилоге.

«Здесь у меня болит.— Он ткнул в грудь: — Здесь свербит, Рита. Так свербит!.. Положил ведь я вас, всех пятерых положил, а за что? За десяток фрицев?

— Ну, зачем так... Все же понятно, война...

— Пока война, понятно. А потом, когда мир будет? Будет понятно, почему вам умирать приходилось? Почему я фрицев этих дальше не пустил, почему такое решение принял? Что ответить, когда спросят: что ж это вы, мужики, мам наших от пуль защитить не могли! Что ж это вы со смертью их оженили, а сами целенькие? Дорогу Кировскую берегли да Беломорский канал? Да там ведь тоже, поди, охрана, там ведь людишек куда больше, чем пятеро девчат да старшина с наганом!»

Уже немало написано о том, какой незаурядной удачей является в повести Б. Васильева образ старшины Федота Васкова.

Любопытно, что в «Зорях» порой совершенно сливаются голоса рассказчика и героя (та же особенность — быть может, в еще большей степени — присуща роману Б. Васильева «Не стреляйте в белых лебедей»). Начинает повествование рассказчик, но очень скоро мы перестаем отличать его от героя. При этом интонация героя, определяющая весь характер повествования, необыкновенно жизненна и дает верный тон повести в целом.

«Ну, писать-читать умеет и счет знает в пределах четырех классов, потому что аккурат в конце этого четвертого у него медведь отца заломал... Из дремучего угла ты, Федот Васков, в коменданты выполз. А они, не гляди, что рядовые,— наука: упреждение, квадрант, угол сноса. Классов семь, а то и все девять, по разговору видно»,— все это говорится не от имени Васкова, а от имени рассказчика, но перед нами именно Васков. Ему присущи народная образность, редкая наблюдательность, солдатский юмор, характерные для этого рода людей

соединение специфически старшинской неукоснительной требовательности с необыкновенным великодушием и истинно русской широтой натуры.

Прежде всего он старшина, воинский начальник, пусть и не бог весть какой великий, но такой же требовательный, как и самые великие.

Вот он докладывает начальству, что в лесу возле их расположения младший сержант Осянина обнаружила двух немцев. Надо ли говорить, как он встревожен этой новостью! Но в то же время взгляд его автоматически отмечает: «Кирьянова вошла, без пилотки, между прочим. Кивнула, как на вечерке».

Кончив купание, Рита Осянина кричит Васкову: «Идите! Можно!..» На этот раз Васков настроен отлично, но тем не менее он успевает так же автоматически отметить: «Это старшему-то по званию «можно» кричат бойцы! Насмешка какая-то над уставом, если вдуматься. Непорядок».

Любимые его словечки: «понятное дело». Но еще чаще встречаются они, пожалуй, в речи рассказчика, еще теснее сближая ее с речью героя.

Временами голос рассказчика явственно «отсоединяется» от голоса героя: «Но шла война, распоряжаясь по своему усмотрению человеческими жизнями, и судьбы людей переплетались причудливо и непонятно». Или: «Наступила та таинственная минута, когда одно событие переходит в другое, когда причина сменяется следствием, когда рождается случай». И еще: «...а теперь не будет этой ниточки. Маленькой ниточки в бесконечной пряже человечества, перерезанной ножом...»

Может быть, вы уже успели подумать, что там, где «вступает» рассказчик, не все выглядит бесспорным. Интонация его подчас несколько литературна: «Но шла война, распоряжаясь по своему усмотрению» и т. д. А подчас он грешит и в смысле вкуса: «Бесконечная пряжа человечества», да еще «перерезанная ножом»!

Когда Женя Комелькова разыгрывает на берегу спектакль перед немцами, Васков садится рядом с ней и видит, что «она улыбается, а глаза, настежь распахнутые, у ж а с о м п о л н ы, к а к с л е з а м и. И ужас этот ж и в о й и т я ж е л ы й, к а к р т у т ь». Это увидено, однако, не Васковым, а рассказчиком и выглядит, как мне кажется, надуманно.

Васков не только окрашивает повесть своим восприятием людей и событий. Он ставит главный вопрос, из-за которого автор «Зорь», в сущности, и взялся за перо: «Будет понятно, почему вам умирать приходилось?»

Может быть, это единственное место в повести, где Васков действует не по собственной внутренней логике, а по воле автора. Вряд ли он задал бы в тех обстоятельствах такой вопрос самому себе и смертельно раненной Рите. Но тут же хочу оговориться: это не упрек, а скорее указание на то, что повесть Б. Васильева написана через много лет после войны, когда невольно кажется (в том числе и самим бывшим фронтовикам), что люди на войне не только совершали поступки, но и сразу же осмысливали их. Задавая свой вопрос, Васков как бы перебрасывает незримый мост из далеких дней в нашу современность, заставляет нас заново взглянуть на военные события глазами человека сегодняшнего дня.

Но есть в повести эпизод, где современность уже не косвенно, а прямо врывается в повествование, где писатель прямо отвечает на вопрос героя.

Я имею в виду короткий эпилог, завершающий повесть.

Время действия эпилога — наши дни. В повести неожиданно появляется новое действующее лицо—некий весьма «современный» молодой человек, приехавший отдохнуть в тихие места, где когда-то гремела война, и пишущий небрежное письмо приятелю.

Перед нами — созданный чрезвычайно экономными средствами рельефный образ одного из тех, кому, видимо, все «до лампочки» или «до фени».

Однако через некоторое время наш персонаж вдруг решительно меняет тон.

«Здесь, оказывается, тоже воевали...— сообщает он.— Воевали, когда нас с тобой еще не было на свете. Альберт Федотыч и его отец привезли мраморную плиту. М ы р а з ы с к а л и могилу — она за речкой в л е с у... Я х о т е л п о м о ч ь и м д о н е с т и п л и т у и — н е р е ш и л с я. А зори-то здесь тихие-тихие, т о л ь к о с е г о д н я р а з г л я д е л».

Так повесть заканчивается.

Еще раз перечитав ее короткий эпилог, я понял, почему разочаровал меня финал в общем-то удавшегося фильма, снятого по повести Б. Васильева режиссером С. Ростоцким.

В повести, в ее пусть коротком, но емком эпилоге перед нами — хоть и пунктирно — проходит некая эволюция ее персонажа.

Начав с полного пренебрежения ко всему («Я не вникал»), он неожиданно для самого себя вовлекается в поиски могилы и — что самое примечательное! — хочет, но н е р е ш а е т с я помочь Федоту Васкову и его сыну Альберту — тому самому Алику, сыну Риты Осяниной — донести до могилы привезенную ими мраморную плиту.

Вот ведь какое дело: вчерашний самоуверенный юнец вдруг понял, что не каждый и м е е т п р а в о прикоснуться к этой священной плите. А раз понял э т о, значит, сможет понять и другое: «Почему вам умирать приходилось».

Этой-то эволюции, этого «хотел помочь им донести плиту и — не решился» нет в фильме.

4. «САМЫЙ НЕОПРОВЕРЖИМЫЙ АРГУМЕНТ»

Повесть Василя Быкова «Обелиск» по своему внутреннему пафосу близка «Зорям» и «Неизвестному солдату», но в то же время ей присущи и резко своеобразные, индивидуальные черты.

«Обелиск» насквозь полемичен, и говорить о нем, игнорируя эту его особенность, попросту невозможно.

В повести два рассказчика: автор, по профессии журналист, писатель, и Тимофей Титович Ткачук, как уже говорилось выше, в прошлом — учитель, заведующий роно, затем — партизан, а ныне — пенсионер. У них есть своего рода «идейный противник». Оба они — в особенности Ткачук — не жалеют слов для резкого, принципиального спора с ним. Ткачук служит в повести рупором авторских идей, пожалуй, в большей степени, чем сам автор.

В «Зорях» и «Неизвестном солдате» речь идет о пяти девушках-бойцах и о пяти солдатах-мужчинах (в обоих случаях о пяти!), отдавших жизнь в борьбе за свою Родину. В том, как воевали эти люди и как они погибли, нет ничего спорного, туманного, непроясненного. Драматический пафос «Зорь» порожден самой гибелью пятерки девушек и горестным вопросом Васкова: будет ли понятно?.. Драматизм «Неизвестного солдата» — в установлении истины: кто из пятерки погибших военных шоферов забросал немцев гранатами, кому принадлежит кисет, чьи останки похоронены в солдатской могиле?

Ни у кого не вызывает сомнений, что герои Б. Васильева и А. Рыбакова честно воевали и достойны посмертной воинской славы.

Иначе дело обстоит в «Обелиске».

С точки зрения Ткачука учитель Алесь Иванович Мороз во время войны вел себя героически. Эта точка зрения, в сущности, уже одержала верх: на обелиске, увековечившем подвиг учеников Мороза, имя их учителя с большим опозданием, но все-таки появилось.

Однако и сейчас находятся люди, не желающие видеть в поведении Мороза ничего героического. «...Что он такое совершил?» — спрашивает Ткачука нынешний заведующий районо Ксендзов.— «Убил ли он хоть одного немца?»

Имя Мороза долго не упоминалось, конечно, потому, что и в те дни, когда Сельцо было оккупировано немцами, он продолжал учительствовать. Жил при немцах,— значит, был либо подпольщиком, оставленным для работы в фашистском тылу, либо коллаборационистом. Такова логика Ксендзова.

А с Морозом дело обстоит сложнее.

Явившись к нему из группы окруженцев, начавшей партизанить, Ткачук спрашивает, по каким программам он учит своих ребят: «по советским или немецким?». Мороз просит не задавать глупых вопросов. «Плохому я не научу,— поясняет он.— А школа необходима. Не будем учить мы — будут оболванивать они. А я не затем два года о ч е л о в е ч и в а л этих ребят, чтоб их теперь р а с ч е л о в е ч и л и». Два года названы здесь потому, что именно этот срок прошел с момента вступления Западной Белоруссии в Советский Союз.

Уже тогда — в безмерно сложных условиях фашистской оккупации — Ткачук приходит к выводу, что Мороз прав: «Пусть работает. Неважно где — важно как. Хоть и под немецким контролем, но наверняка не на немцев. На нас работает. Если не на наше нынешнее, так на будущее. Ведь будет же и у нас будущее. Должно быть».

Впрочем, Мороз вскоре начинает работать и на настоящее: достает приемник, записывает сводки Совинформбюро и дважды в неделю тайно передает их партизанам.

Когда фашисты хватают его учеников, подготовивших террористический акт, он успевает уйти к партизанам — его предупреждает полицай Лавченя, которого он считает отъявленным изменником Родины. Кстати сказать, этим поступком полицая Ткачук еще раз подчеркивает, сколь осторожно следует судить о поведении того или иного человека в условиях оккупации: «Лавченя был молодец, хоть и полицай».

Немцы требуют, чтобы Мороз явился в Сельцо и сдался — иначе они уничтожат его арестованных учеников. Всем ясно, что если Мороз выполнит это требование, его уничтожат вместе с учениками. Даже Ткачук говорит Морозу: «Надо быть круглым идиотом, чтобы поверить немцам, будто они выпустят хлопцев. Значит, идти туда — самое безрассудное самоубийство».

Но Мороз твердит, что надо идти, и в конце концов уходит. Случается то, чего и следовало ожидать: Мороза уничтожают вместе с его учениками. Из семерых остается в живых только Павлик Миклашевич — по подсказке Мороза он бросается в кусты и чудом спасается.

Через некоторое время, составляя для штаба бригады списки погибших за весну и зиму, начальник штаба партизанского отряда «тихий, исполнительный лейтенант Кузнецов» спрашивает командира отряда Селезнева: «Как будем п о к а з ы в а т ь Мороза? Может, лучше совсем н е п о к а з ы в а т ь? Подумаешь, всего два дня в партизанах побыл». Селезнев, не любящий вспоминать историю с Морозом, нахмурившись, отвечает: «А что крутить! Так и напиши: п о п а л в п л е н. А дальше не наше дело».

Мороза п о к а з ы в а ю т как попавшего в плен. Так начинаются его посмертные злоключения, не вполне окончившиеся и поныне.

«Вот теперь вы скажите,— спрашивает Ксендзов Ткачука,— что было бы, если бы каждый партизан поступил так, как Мороз?» Ткачук в ярости останавливает машину: он не хочет ехать с Ксендзовым. «Поговорим в другом месте»,—грозит ему Ксендзов. Он остается при своем мнении. Автор «Обелиска» отнюдь не считает, что с ксендзовыми покончено. Наоборот, финалом повести он хочет мобилизовать читателей на дальнейшую борьбу с ними.

«Жизнь — это миллионы ситуаций, миллионы характеров. И миллионы судеб,— захлебываясь от волнения, спорит с Ксендзовым Ткачук.— А вы все хотите втиснуть в две-три расхожие схемы, чтоб попроще! И поменьше хлопот. Убил немца или не убил?.. Он сделал больше, чем если бы убил сто. Он жизнь положил на плаху. Сам. Добровольно. Вы понимаете, какой это аргумент?»

В начале повести, обращаясь к рассказчику и по праву чувствуя в нем единомышленника, Ткачук говорит: «Смерть, она, брат, свой смысл имеет. Великий, я тебе скажу, смысл. Смерть — это абсолютное доказательство. С а м ы й н е о п р о в е р ж и м ы й а р г у м е н т».

Даже полицай Лавченя сложнее, чем кажется на первый взгляд. А про Мороза и говорить нечего.

Являясь на неминуемую зверскую расправу, он самой смертью своей подтверждает все то, что говорил о новой власти и ее людях ученикам, их родителям, всему населению местечка Сельцо. Оказавшись рядом со своими ребятами, Мороз, насколько это ему удается, старается быть бодрым и подбадривает их: «...тот факт, что рядом был их учитель, их в с е г д а ш н и й Алесь Иванович, как-то облегчал их незавидную судьбу».

Когда добровольно явившегося в Сельцо Мороза приводят к старосте, старик Бохан шепчет ему: «Не надо было, учитель». «А тот одно только слово в ответ: «Надо». И ничего больше».

Что Мороз мог сказать еще? Он положил свою жизнь на плаху, а это, как говорит Тимофей Титович Ткачук, самый неопровержимый аргумент!

...Заметки о книгах, которые как бы перебрасывают мост из нашей современности в далекие, все более уходящие в историю дни «Великой и Страшной войны», я хотел бы закончить одним отнюдь не риторическим вопросом. Его задает в «Обелиске» все тот же Ткачук.

«...Почему героев, живых или погибших, должны искать пионеры?.. Неужели ребятишки лучше всех разбираются в войне? Или настырности у них побольше — легче к важным дядям достучаться?.. Почему это взрослые дяди не заботятся, чтобы не было этих самых безвестных? Почему они умыли руки?»

В самом деле, почему?

Может быть, действительно потому, что, вздумай Тимофей Титович Ткачук попасть на прием к заместителю министра Ростиславу Корнеевичу Стручкову, ему это было бы гораздо сложнее, чем Сереже Крашенинникову...

